

МАРК ХАРИТОНОВ

ДЖОКЕР, ИЛИ ЗАГЛАВИЕ В КОНЦЕ

Фактор джокера не позволяет заранее предсказать развитие.

«Самоорганизация систем»

1

Потом уже я осознал, что ждал прихода этого рыжего с неясной тревогой — принимая ее за раздражение: опять опаздывает. Договаривались на одиннадцать, приближалась уже половина двенадцатого, я собирался еще в магазин, дома не было даже хлеба, хозяйничал без жены. Наконец он объявился, представился в домофон невнятно, вчерашняя жвачка во рту, я скорей догадался, чем разобрал. Надо было, наверное, его не впускать, я мысленно уже проговаривал воспитательные сарказмы, пусть придет в другой раз. Нет, хватит уж одного, я и так жалел, что согласился на эту пересдачу. Не хотелось оставлять невытащенной какую-то занозу. И раз уж ректор просил.

Лишь открыв ему дверь, я увидел, что парень прикрывает нос и рот окровавленным платком, на лбу и скуле слева наливалась цветом обширная ссадина.

Что случилось? Упал, ударился? С кем-то подрался? Мычал сквозь платок нечленораздельно. Пришлось провести его в ванную, направляя, придерживая за плечо — беднягу пошатывало. Я пустил из крана холодную воду, сам наклонил ему голову, смотрел из-за спины, как он осторожно, отфыркиваясь, обмывает лицо. В раковину стекала подкрашенная вода. Поискал взглядом, какое полотенце попроще ему дать, чтобы вытерся, — не успел, тот вслепую уже сам протянул руку, нащупал немецкое, махровое, испачкал пятном Бранденбургские ворота. С этим рыжим не соскучишься. Выпрямился, задрал голову, осторожно проверил пальцами, идет ли еще из носа кровь.

— Извините, — прогундосил сквозь пальцы, — я сейчас... все объясню... реферат... вот, новый, — извлек, не глядя, откуда-то из-за спины, из обширного кармана бездонной своей безрукавки сложенные вдвое листы, протянул. На листах оказалась кровь, я принял их двумя пальцами. Не позаботился и на этот раз хотя бы положить в файл. — Ночью вдруг пошло...

— Хорошо, хорошо, сейчас все расскажете, объясните, — я вслепую пристроил листы на какую-то подвернувшуюся плоскость, взял его за плечо, — только давайте лучше не здесь, да? Пройдем сначала в комнату. — Полотенце стекло на пол (ладно, подниму потом сам, все равно в стирку). Студент сделал шаг, пошатнулся опять, пришлось снова его поддержать. Что у него пошло ночью? Пьян, что ли? Этого еще не хватало. Я повел ноздрями, попробовал уловить дыхание. Нет, запаха вроде не было. Провел парня в комнату, усадил в низкое кресло. Лоб, бровь, скула слева набухали, становились все более сизыми. Где он так, однако, приложился? Может, сотрясение мозга?

— Вызвать врача? — предложил полувопросительно.

Нет, замотал головой, нет, нет. Пожалуйста, не надо. Рыжая шевелюра на лбу потемнела от воды, на воротнике светлой рубашки кровь. Речь становилась замедленной. Извините... я все объясню. Уже почти в норме... сейчас пройдет. Извините...

— Принести, может, кофе? — вспомнил я.

— Кофе?... Может, кофе... а? — Помотал головой, словно что-то страшивая. — Кофе... Ай да Пушкин, ай да сукин сын! — Хохотнул коротко, затрудненно. — Как я сумел от них оторваться, вы бы видели!

— Вас кто-то преследовал? — Я все еще пытался понять. На машине грохнулся, как сразу не пришло на ум? Он и вчера опоздал на машине. Эти студенты теперь не на метро ездят. Не вписался в поворот, задел какой-нибудь столб. Хорошо, если не человека. И где машина? — Может, позвонить в милицию?

— Нет, пожалуйста... это не надо, — студента словно передернуло. Что-то с ним было не в порядке. — Пожалуйста, нет... Я сейчас сам...

Я все больше убеждался, что парень не вполне адекватен, расспрашивать сейчас бесполезно. Ушиб ли сказывался, нездоровое возбуждение? Где-то я недавно такое видел... плывущая речь, блуждающий взгляд, дрожащие пальцы... опять мотнул головой...

И тут же вспомнил: в фильме про наркоманов. По телевидению. Такое вот сдвинутое выражение, искаженная, неточная улыбка. Наркотики, ну конечно. Вот почему он так испугался милиции. Наглотался какой-то дряни. А если что-то еще завалось в карманах, найдут — тут не дорожным разбирательством пахнет, похуже.

Не хватало еще этого. Вот с чем я никогда не имел дела. Левый глаз все больше заплывал, правый, как бы в согласии с ним, тоже становился щелкой, почти слипался. Как в таких случаях поступают? Наташа вызвала бы врача, но знать бы, чем это обернется. Или попробовать в самом деле кофе?..

Вышел в кухню, включил чайник. Кофе оставался только в пакетиках, положу ему два. С сахаром или без? И сахара нет, надо же сходить в магазин. Ну дела! — усмехался я сам себе, выбирая чашку побольше. Преподаватель угощает кофе студента, который пришел к нему пересдавать зачет. Домой, как в старые времена. А студент для бодрости накачался по-своему, не считал, и как его привести в чувство?

Когда я вернулся с подносом в комнату, студент в кресле уже сопел, уронив здоровую щеку на плечо. Бессмысленная расслабленная улыбка на слюнявых губах. Капельный остаток крови вытек из ноздри, засыхал. Стоило бы обработать ссадину, только найти чем. Была бы дома Наташа. Легонько потормошил юношу за плечо. Тот пробормотал что-то нечленораздельно, пузырек слюны вздулся на губах. Брезгливость мешалась с невольной жалостью. Почти мальчик, девятнадцати еще, наверное, нет, первый курс. Родители, я уже знал, в отъезде, один, некому позвонить. Незнакомый, в сущности, человек, почему согласился принять его дома? Евгений Львович, ректор, уверял, что парень очень способен в какой-то своей области, математической или компьютерной. Хорошо, но зачем такая срочность

с пересдачей? Я уступил ректору, ничего еще не понимая. Ладно, пусть потом разбирается сам, у него к мальчику странная слабость, это я успел почувствовать. А пока полежит, оклемается, рано ли, поздно. Хотя не вызывать врача, наверное, легкомысленно. Если бы не мысль о наркотиках. Сколько, интересно, это может длиться? В магазин же надо.

Я еще не представлял, как попался.

2

Еще год назад я и думать не мог, что снова займусь преподаванием. От тех же курсов по тем же конспектам (Чехов—Толстой—Тургенев, перхоть пожелтлых бумаг), от кафедральных склок, унижительной зарплаты ушел сначала на министерскую синекуру, сочинять какие-то методические руководства, ненадолго задержался на другой такой же, освободился наконец на пенсию.

О преподавательской работе я жалел меньше всего. Когда-то связывал свое будущее с наукой, любил в молодости усмешливо поболтать о том, что литературу, ее полноценное, так сказать, измерение создают не столько творцы первоначальных, исходных текстов, сколько филологи, толкователи, биографы, комментаторы. Это они наполняют неразработанные, не до конца оживленные строки соками многомерных смыслов, обнаруживают в них связи, культурные, мифологические соответствия, переклички, о которых отчетливо не подозревали сами авторы. Не их ли почти двухвековым соавторством был создан — и продолжает до сих пор создаваться Пушкин? Разве современники Шекспира, едва замечавшие его при жизни, могли понять, вычитывать у него столько, сколько читаем теперь мы, и он все еще не перестает обогащаться, расти — тоже благодаря нам, почти безымянным, не претендующим на бессмертие? Иронизируйте сколько хотите — но что такое, в конце концов, Библия без теологии? Что-то в таком духе.

Надолго этого молодого тщеславия не хватило, имени в науке не заимел, докторскую диссертацию не дописал (Чехов и Серебряный век, восприятие, неприятие, культурный контекст... о господи, было, было). Последнюю статью в «Ученых записках» напечатал лет пятнадцать назад, сами «Записки» надолго прекратили существование, уж не вспомнить когда. Уверял себя, что на досуге доработаю, додумаю недодуманное, некоторое время кропал кое-что для себя, угас. Обычное дело. Прирабатывал популярными публикациями, все больше к культурным юбилеям, отоваривал неиспользованную мелочишку. В одном из глянцевого журналов начальником оказался мой бывший студент, никогда мне еще так не платили, основные деньги в дом приносила жена — хватало.

Состояние полудремотного спокойствия можно было назвать возрастной усталостью. И не сказать, чтобы обрюзг, расслабился, — нет, об этом тоже было кому позаботиться. С Наташей вообще не на что было жаловаться, нечего было желать. Новинки читать не тянуло, общение угасало, бывшие собеседники уходили, кто из жизни, кто из страны, переписка не складывалась, с новыми не сближался.

(Повторяющийся сон: станция или полустанок, спускаешься из вагона купить у набежавших торговочек вареной картошки из кастрюли, укутанной ватником, в аппетитном горячем масле, надо теперь вернуться в свой вагон, но путь к нему оказывается загроможден другим, подошедшим поездом, пока его обходишь, твой успеваешь куда-то деться, ушел или перегнан на другой путь, ищешь долго, невпопад, безнадежно, как бывает во сне, пока не представляешь себя с облегчением проснуться: никуда тебе на самом деле не надо, и Наташа под боком, теплая.)

Если и подступало иногда неясное чувство, похожее на тоску, я с ним умел справляться, способность к иронии не исчезла. Пока не произошел

этот сбой. Шли к дочке посмотреть квартиру после ремонта, возле мусорного бака против ее подъезда я увидел сваленные кучей книги, подался взглянуть поближе. Рефлекс, пора уже было привыкнуть к зрелищу книг на помойке, Наташа удержала за локоть. Померещилось что-то, не успел на расстоянии рассмотреть. Соня со сдержанной гордостью демонстрировала усвоенные уроки дизайнерского журнала: арочный проем между комнатами вместо убранных дверей, малогабаритное джакузи в стиле техно, массивные, мягкие, размягчающие кресла. Наташа ахала, я поддакивал рассеянно, а взгляд по привычке выискивал книги. Они теперь ютились в разных пазах, наряду с бокалами, вазами, сувенирами. Путеводители по европейским достопримечательностям, красочные обложки, незнакомые имена, комплект «Cosmopolitan». И будто все медлил осознать, что ищущий и не могу найти, не давал проясниться воспоминанию о замызганном картонном переплете с геометрическим силуэтом птицы. Возле мусорного бака, в начинавшихся сумерках. Но уже знал, что не ошибся. Дешевая школьная серия, единственный сборник Чехова, к которому когда-то написал предисловие. Соня получила эту книгу в подарок, когда была еще школьницей. Открывала ли она ее хоть однажды, прочла ли сентиментальную надпись? Скорей всего, просто про нее забыла, и не в надписи было дело. Дома снял книгу с полки, листал, казалось бы, знакомое, самим написанное, начинал читать — и не мог. Не узнавал, не проникал в смысл.

Как описать этот странный, болезненный сдвиг? Время назад появились такие картинки: чтобы в наборе беспорядочных пятен обнаружить осмысленные очертания, нужно было особым образом настроить глаз. Собьешься, утратишь настройку — опять рассыпается бессмысленным конфетти. Оптический эффект. Мы еще увидим небо в алмазах. Соединял слова непонимающим, не своим взглядом. Все оторвано и исчезло, точно сгорело.

3

Еще не болезнь, нет, сейчас-то я знаю, как это бывает по-настоящему. Невнятное состояние мозга, грань депрессии. Испытавшие поймут: не можешь читать больше двух-трех страниц подряд — выталкивает, музыка обтекает слух, убаюкивает, не задерживаясь, о телевидении не говорю. Появился еще Интернет, я подключился к нему запоздало, не сразу. Бродил очередной раз без направления, забрел на дискуссию о кризисе цивилизации, нечаянно задержался на переключках с собственной полузабытой мыслью.

Не впервые, читал я, меняется не просто культура — возникает особая, небывалая прежде реальность. Каждое время вправе считать себя переходным, но никогда еще перемены не были столь быстротечными. Только что за происходящим можно было хотя бы уследить, приспособиться, обучиться. Время уплотнилось, в ушах шум, не успеваем оглянуться, перевести дух, переварить перемены. Знания, которые не успевают передать, остаются невосребованными, как усовершенствования скоростареющей техники. Добытые премудрости оказываются не нужны — не потому, что опровергнуты или превзойдены, они просто остались в прошлом. Как останутся когда-нибудь в прошлом музейная живопись, классический балет, литературный антиквариат... Когда-то я сам подумывал написать на близкую тему, нужные слова ускользали.

Подвернувшийся попутно стишок подтолкнул мысль. Человек былых времен наблюдает с беспомощной грустью, как разрушается, приходит в упадок страна, культура. Изваяния повалились, замыты песком, заросли бурьяном... попробую вспомнить... *Для нынешних они истуканы, а были когда-то боги.* Да. На глазах вырождается, угасает цивилизация, привычная, естественная, как

сама природа, сменяется чем-то еще неясным, чужим, и не из-за насильственного вторжения — от внутренней усталости, изжитости. *Прежний язык позабыт, мне на нем говорить уже не с кем...* Как будто мои слова. *Пережил свое время, попал в чужое...* И дальше о древних мистериях обновления. Обновления природы, жизни — и обновления памяти... как там?... *Беспамятство невыносимо для духов, они не хотят исчезнуть, дают о себе знать...* Кажется так. *Будут исподтишка мстить, покуда о них не вспомнят, не восстановят единство, чтобы жизнь могла продолжаться, выздоравливая и обновляясь.* Выздоровливая и обновляясь... поэт, ничего не скажешь.

Нечаянно сложилось что-то вроде статейки. Древние, писал я, не просто умом сознавали, чем чревато забвение. Они знали о духах, готовых мстить, когда ими пренебрегают. Нельзя допустить разрыва, пропасти между унаследованными ценностями, которые наши предки, может, не зря считали основополагающими, вечными, и тем, что формируется на наших глазах, еще не совсем различимое. Должен существовать хотя бы узкий круг хранителей, способных поддерживать связь, напоминать об основах, жизненно необходимых для здоровья культуры, а значит, для самого нашего существования. Общественное неблагополучие, моральный распад, потребительская паранойя, немотивированная преступность, все, о чем толкуют сегодня газеты, больше, чем мы сознаем, связано с умственным разбродом, недодуманностью, несогласованностью. Сопrotивление не может не остаться потребностью, хотя бы на уровне самосохранительного инстинкта. Какие-то механизмы, природные ли, духовные, исподволь начинают работать. Иначе — разложение, вырождение, упадок.

Ну и что-то еще в таком вот высоком стиле, сам от себя не ожидал. Показывая свой опус в журнале, я заранее готов был к подслащенному отказу: не наша тема, для популярного издания слишком, как теперь говорят, интеллектуально. Нет, приняли без эмоций, предложили подать статейку в виде отклика на дискуссию в какой-то радиопередаче, там недавно вроде бы обсуждалось что-то такое. Название передачи (как и радиостанции) я слышал впервые, никакой записи или распечатки мне найти не смогли, от предложения я с недоумением отказался. Что там могли наговорить? Не уследил.

Неловко теперь вспоминать, но я всерьез ждал отклика, месяц, другой. Все умственные построения рано или поздно становятся общим местом, это я сам знал. Но неудобное все же чувство: думал, вынашивал, подыскивал слова, показалось, будто выразил что-то важное, — все тут же глохнет, гаснет, в пустоте или в поглощающей вате, безразличный шум неотличим от безмолвия.

Тем неожиданней было однажды услышать: «А я вас читал!» — да еще от незнакомого человека, и вовсе не литератора.

4

Случилось это на торжествах по поводу вручения очередной литературной премии. Царьков, журнальный кормилец, бывший студент, устроил мне приглашение. Возможно, решил, что теперь, после статьи, я смогу написать для них не только что-нибудь юбилейное. Прежде меня на такие тусовки не звали: отставной старомодный филолог, о текущей словесности не пишет и не особенно ею интересуется. Когда-то в пылу околотитулярной болтовни меня называли эмигрантом не в пространстве — во времени, таким подавай выдержку не меньше лет пятидесяти, а лучше семидесяти. Нет, я и в нынешних авторов заглядывал — как-то надолго не вдохновлялся. Может, не на тех попадал. Новый язык порой приходилось для себя переводить. Но свежее печенного лауреата читать все же начал, вдруг в самом деле нашлось бы о чем написать.

Действие у него происходит на территории громадного заброшенного предприятия. Там обосновалась своего рода община — что-то вроде заповедника советских времен. Вождь-идеолог, отставной сотрудник спецслужб, обеспечивает справедливое распределение благ счастливым бомжам. Поддержание порядка требует, однако, ритуальных жертвоприношений, живодерские процедуры на первых же страницах живописуются подробно, со вкусом. Я обычно предпочитал не смотреть прессу, покуда не дочитаю сам, но тут не удержался, заглянул. Критики с готовностью теоретизировали о постсоветской травме, о ностальгии по тоталитарной ментальности, о сакрализации насилия. Словарь новомодных интеллектуалов. При желании найти в тексте можно что угодно (как на школьном уровне можно было отмечать в сочинении композицию, эпитеты, метафоры), и ведь не опровергнешь. Мне расшифровывать сконструированные аллюзии не хотелось, читать становилось неинтересно, местами противно, бросил на первой трети — не знаю, чем там сюжет завершился.

После торжественной процедуры я неспешно дрейфовал по шумному фойе с бокалом вина в руке. Лауреат беседовал с журналистами. Массивный, пухлый, обильная черная шевелюра, безволосые женские щеки — как совмещалась эта вполне уютная внешность со страстью к смакованию извращенных насилий? Так ведь и не надо было ничего совмещать, и страсти никакой искать не стоило — слова есть слова, конструкция есть конструкция. К нему подходили с ритуальными поздравлениями, чокались, изображая улыбки. Накануне в интервью лауреат говорил, что отечественных современников не читает, другие, подозреваю, могли сказать о себе так же. Одиночки, разрозненные ревнивые гении, предпочитавшие зря не раздражать чтением печень. Лишь двух-трех я мог узнать в лицо — по фото на книжных обложках, телевидение этими людьми теперь мало интересовалось. Не успевшие занять места за столиками чревоугодничали, стоя с бумажными тарелочками на весу, гул слитных разговоров обтекал слух, как ровная неясная музыка со всплесками то восклицаний, то группового смеха.

Я собирался уже уходить, когда кто-то окликнул меня по имени-отчеству. Царьков, мой покровитель-редактор, дожевывал за одним из столиков шашлык. Толстеющий, лысый, с тонкой дугой усов, он казался старше меня, хотя был младше на четверть века.

— Ну как, осваиваетесь в литературной среде? — отер салфеткой блестящие жиром губы. — Это наш автор, тот самый, — представил меня седому худощавому мужчине напротив. — Мы о вас, — пояснил, — только что говорили.

Услышав мою фамилию, мужчина заинтересованно приподнял кустистую бровь.

— А, очень приятно! Я вас читал.

Его звали Монин, Евгений Львович. Скоро я уяснил, почему лицо показалось знакомым. Давно, когда я еще смотрел телевизор, этот человек иногда появлялся на экране, в ток-шоу на экономические темы. Профессор какого-то университета, одно время занимал высокие должности, кажется, даже был замминистра. Лет десять назад он с экранов исчез, а значит, для таких, как я, перестал существовать. Здесь этот Монин представлял, как я уже начал понимать, спонсоров премии. Человек другой, денежной сферы, чем его могла заинтересовать моя статейка?

Он охотно стал говорить сам, не дожидаясь вопроса. Мой опус показался ему вариацией на тему вольтеровского гуруна, естественного человека, который вдруг попал в странную цивилизацию, озирается, озадаченный. Повторяется в разные эпохи по-разному. Сейчас так фантазируют об инопланетных мирах: попытки проникнуть в коды непонятной, чужой реальности, приспособиться, жить в ней, рядом с ней...

Царьков заскучавшим взглядом уже неприметно отыскивал среди публики кого-то более подходящего, скоро отошел, извинившись. Но я тут же подумал и о другом, продолжал Монин, когда мы остались вдвоем. Не высокомерие ли это: себя, то есть нынешних стариков, нас с вами, считать естественными, как хотелось бы думать, людьми, носителями, наследниками настоящей культуры? Может, это скорей вправе сказать о себе молодые, новые? Моему внуку недавно пришлось выручать меня из очередного компьютерного тупика, застрял не пойму как. Для него это с младенчества — как для нас детские кубики с буквами, помните еще такие? Хотя вы, кажется, помладше меня. Лет на десять? Даже на одиннадцать! Ну, в этом возрасте разница несущественная...

У стены освободился столик, где можно было сидеть, мы переместились к нему, бокалы перенесли с собой, обособились. Вот ведь подарок: встретить человека, который не только тебя прочел, но понял, и как заинтересованно. Может, в чем-то лучше, чем ты сам. Мы оба незаметно захмелели, доброжелательно, весело. Неожиданно нашли даже общих знакомых, общие воспоминания, могли встречаться на квартирах, где провожали когда-то очередных эмигрантов, читали те же машинописи по слепым копиям, да и перед Белым домом в памятном августе могли столкнуться. Времена, когда в курилках НИИ день начинался с разговоров о новинках толстых журналов, заученными наизусть стихами перекликались как кодами взаимного опознания, по ним находили друг друга — как еще можно было определить интеллигента? Не по университетскому же значку. (Технарь, а Вольтера читал.) С пониманием, согласно друг другу кивая, помянули идеализм тогдашней интеллигенции, инфантильные иллюзии, неизжитые, впрочем, до сих пор (и совсем ли безвредные?), поговорили о не востребованности нынешней, о тех, кого стали теперь называть элитой, вот ведь слово, вконец опоганенное телевидением, политиками, шоу-звездами, бизнесменами... тут я, впрочем, вовремя спохватился: не примет ли это Монин на счет людей своего круга? Хотя что я знал о его круге?

— А ведь нужна же категория людей, которые задают обществу систему ценностей, духовных, интеллектуальных, политических, нравственных, — на ходу вдохновлялся я. — Что-то вроде новой аристократии...

Чокнулись, потом еще, подходили официанты, подливали в бокалы, закуску я не заметил. Говорили, веселя все больше, главным образом я. О культуре в эпоху рынка, о мечте создать островки духовной опоры для ищущих друг друга, об утопии в духе Гессе. Но гессевскую Касталию хотя бы содержали, субсидировали структуры типа монастырских — кто станет это бескорыстно, из высших соображений делать в нынешние времена? Треп на известные темы. Евгений Львович больше слушал, понимающе кивал головой.

Потом мне казалось, что прямо тогда же, по ходу разговора, у него и возникла идея ввести для студентов-экономистов, будущих финансовых, банковских деятелей, бизнесменов, хотя бы небольшой курс, назвав его, скажем, «Культура переходного времени». Что-то в таком духе. Хотя на самом деле идея висела, можно сказать, в воздухе. Этот Евгений Львович оказался не просто бывшим министром, но ректором только что созданного Нового экономического университета. Университет был негосударственный, его финансировали структуры не бедные, они уже обзавелись нестандартными курсами вроде социальной антропологии и даже лингвистики. Руководство хотело, чтобы и преподаватели были самого высокого уровня. Я подвернулся точно по заказу, вот ведь как.

О, эта утраченная радость интеллектуального общения, это хмельное чувство внезапной близости! Даже, помнится, на прощание облобызались. Подвыпили, что говорить.

Стоило бы, конечно, обоим хоть на другой день протрезветь, признать, что предложение было мне сделано по пьянке, неловко потом показалось переигрывать. Сам я отмахивался, не всерьез, но ведь не отказался. Соблазнили предложенными деньгами? И это, конечно, сыграло свою роль, что лукавить. Всего за два академических часа в неделю, не сравнить с тем, что я получал на своей последней доцентской должности, — цифра льстила самолюбию, прибавляла к самому себе уважения. Была, пожалуй, надежда высказать недоговоренное, оказаться услышанным, уловить заинтересованный отклик — но больше, может, оживить что-то угасающее в себе. Как и та наивная статейка, если честно подумать.

До начала семестра я листал давние записи, обнаруживал забытые, неожиданные для самого мысли, перечитывал разное. Смешно сейчас вспоминать, как было размечтался вначале. Отойти от привычного литературного курса, привязанного к именам, хронологии, повести свободный разговор на темы, которые занимали меня в разное время, не научить, но пробудить интерес. Реальность отрезвила достаточно скоро.

Занятия проходили не в основном университетском здании (старинный особняк, украшавший своим изображением официальные бумаги, пока реставрировался, отчасти достраивался), а в панельной постройке школьного образца. Во двор, огороженный узорной чугунной решеткой, с будкой охраны, въезжали навороченные, раздутые машины, мерседесы, лексусы, джипы, я и названий всех не знал, и из машин этих выходили студенты. (Сам я приехал, как всегда, на метро, быстрее, машиной пользовалась Наташа.) Будущая деловая элита, менеджеры, финансисты, экономисты, я не знал, как их определить точнее. Вообще, оказалось, не очень их себе представлял.

Кучка молодых людей дожидалась меня перед аудиторией. Двое, с затычками в ушах, пританцовывали под слышную лишь им музыку, каждый, надо понимать, под свою, обошлись бы и без нее. Коридорный полумрак, запах свежей мастики, натопленных батарей, на полу сумки, у девушки под расстегнутой кофтой на черной майке открылись крупные буквы. Прочитывались лишь «СПОР», «ЖИЗ», остальное домыслить было нетрудно. Что-то вроде «спорт — это жизнь». Красное на черном. Напротив нее выделял виртуозные коленца парень спортивного вида. Грубоватое лицо, черная рубашка навыпуск, челка на лоб, в ухе небольшая серьга, на губах уверенная усмешка. А рядом, чуть в сторонке, притоптывал, подергивал ножкой тот самый рыжий. Вздохмаченная шевелюра, поверх свитерка серая безрукавка со множеством карманчиков и карманов. Он танцевать явно не умел, и флешки при себе не нашлось, но ему хотелось участвовать, быть с ними. То есть с одной из них, это было очевидно.

Девушка, разгорячась, вдруг легким движением сорвала с себя кофту, вскинула над головой, на груди открылось полностью: «ИСПОРЧУ ЖИЗНЬ». Я задержался невольно. Она поймала на повороте мой взгляд, улыбнулась, но не остановилась. Оголенные руки над головой, как гибкие змеи, вскинутые дуги бровей, блеск зрачков в полумраке, и эта улыбка...

Задержанное, растянутое надолго мгновение. Беззвучная для меня музыка, магия неслаженного на вид танца, жаркий запах, полумрак — а может, еще и укол не сразу осознанной памяти о том, как я точно так же впервые подходил к аудитории в Педагогическом институте, начинающий преподаватель, свежееиспеченный кандидат наук, и меня озарила та же улыбка вполоборота. Соединится потом. Даже черная обтягивающая майка такая же, только без надписи, конечно. Тридцать лет назад. Поправила что-то на затылке... Нет, в это мгновение вместились что-то большее, не поддающееся словам, чему еще лишь предстояло раскрываться, развертываться, вместе с чувством

или догадкой о том, как связано в жизни все: отдельная для каждого музыка, ничего не значащая улыбка, ревность, наделяющая силой и способная обессилить, соединения нейронов в мозгу, игра закодированных, неявных систем, необъяснимость выбора, который называют судьбой, как будто он не совсем зависит от нас, во всяком случае от нашего понимания, и поэзия неосуществимого, невозможного...

Лиана. Имя было, надо полагать, восточное, но словно специально для нее созданное, оно змеилось, льнуло (гибкий побег обвивает, едва коснувшись, еще, еще). Крупные удлиненные серьги в ушах, темные камни, загадочный свет изнутри. Лиана Измайлова. Из семейства, можно было понять, непростого, приезжала и уезжала с охраной на черном громадном майбахе, двое чернявых, с усиками, дожидались ее в вестибюле или в машине, с легкой шубкой из неизвестного мне серого меха. То, что девушка из такого семейства могла появиться в безрукавке с такой надписью, означало, что ей многое было позволено — пусть до известного предела, пусть на один день, больше она в этой майке не приходила. Но и одного такого раза достаточно.

Я не знал, всерьез ли собиралось семейство приобщить девушку к бизнесу, посылая ее в этот университет, просто ли ради престижного диплома, в южных краях это всегда ценилось. Но меня она приходила слушать из личного интереса, я потом мог убедиться. Занятий не пропускала, единственная записывала за мной от руки, в тетрадке. Посмотришь, одна из тех добросовестных студенток, у которых к экзаменам всегда найдутся конспекты, потом дают попользоваться другим. Право, точь-в-точь как моя Наташа тридцать лет назад. Но с Наташей я уже успел узнать, что первое впечатление бывает обманчивым. Если я нечаянно встречался с девушкой взглядом, она каждый раз отвечала мне улыбкой, приходилось за собой следить. На перемене, перед зеркалом в туалете, как-то поймал себя на том, что пробую себя увидеть ее глазами. Подтянутый, без брюшка, седоватые виски без лысины, щеточка благородных усиков, право же, молодежавый. Серый костюм, прилегающий пиджак с галстуком, в тон седине, покррой самый модный. Наташа купила мне его специально для этих занятий, и о белоснежной рубашке заботиться не забывала... ну, что об этом...

Двое молодых людей притаскивались на мои занятия, скорей всего, ради нее. Усаживались все трое в дальнем конце аудитории, хотя места впереди были пустые. Спортивного, в меру накачанного парня звали Пашкин, Станислав Пашкин. Черную рубашку навыпуск лишь такой несведущий в моде человек, как я, мог считать небрежной, она стояла, наверное, дороже всего моего костюма с галстуком вместе. Мягкая ткань с отблеском консервной банки. И прикатывал он в университет на тачке не какой-нибудь, а бентли. Чем-то мне было неприятно его грубоватое, неинтеллигентное лицо с челкой, эта серьга в ухе, надо было от себя отгонять недопустимое для преподавателя предубеждение. Слишком в него вникать не стоило — обнаружишь вдруг что-то вроде возрастной ревнивой зависти. Нет, нет.

Рыжий, Роман Тольц, выглядел довольно нелепо рядом с этими уже вполне зрелыми молодыми людьми. Вчерашний школьник, не до конца оформившийся подросток. Бедный смешной влюбленный, он был мне, во всяком случае, понятен. Ему я мог скорей посочувствовать. На занятиях он и с репликами вылезал то и дело, старался произвести впечатление — не на меня. Выпендривался, как сказали бы в наше время.

Так сложилось, я сразу выделил для себя эту троицу. Зачем ходили другие, с разных факультетов, и сейчас сказать не берусь. Может, потому что хоть один гуманитарный курс в университете был обязателен, и вдобавок существовала какая-то накопительная система оценок, учитывались не только экзамены, зачеты, письменные работы, но и посещаемость. Приходилось выбирать хоть что-то, мои занятия показались не самыми обременительными.

А может, надеялись услышать что-нибудь занятное, не сразу поняли, не разобрались. Держали перед собой раскрытые ноутбуки, не знаю, за мной ли записывали или занимались чем-то своим, играли в закрытые от меня игры, — я предпочитал не выяснять и прогулов не отмечал.

На первом занятии попробовал заговорить с ними о классике, должно быть, осточертевшей всем в школе, о том, зачем она все-таки нужна. О ее способности создавать общее культурное пространство для разрозненных, разбредшихся групп, объединять одиночек, позволять им при встрече хотя бы опознавать друг друга по общим позывным, перекликаться на языке, заложенном младенческими считалками, детскими сказками (все ведь вспомнят Курочку Рябу, Колобка), строчками Грибоедова или Крылова (даже если забыли или не знали источник), пока он не совсем вытравлен компьютерным и прочими сленгами... Оживление в заднем ряду вынудило меня прерваться. Молодые люди рядом с Лианой неприлично фыркали, девушка отмахивалась, смуглые щеки порозовели.

— Вам что-то непонятно? — спросил я. — Я что-то сказал забавное?

— Она не знает, как писать Курочку Рябу, с большой буквы или с маленькой, — охотно пояснил рыжий. — Она вообще первый раз про нее слышит.

— У них там в детском саду начинали с покемонов, — добродушно осклабился Пашкин.

Лиана подняла на меня смущенный, как будто виноватый взгляд. Улыбка стала еще прелестней. В детском саду. В Баку или Махачкале. (В Баку, потом уточнил.) Успела вырасти без русских сказок, в другой стране. Как я когда-то в Германии понял, что не смогу уже по-настоящему полюбить раскрашенных толстеньких гномиков в чужом саду, только свое. Что такое покемоны, мне самому пришлось еще выяснять, понимания это не прибавило, наоборот, лишь разрасталась область, укрытая тайной, которой до конца не дано проясниться. Испорчу жизнь...

Объяснить ли, почему, едва оказавшись дома, я устремился нетерпеливо к Наташе, хозяйничавшей в кухне, накинулся на нее, как в молодые времена, среди бела дня, не дав закончить салат, удивив ее, ошеломив, восхитив, сам восхищаясь все больше, бормоча ей в ухо бессмысленные, превосходящие смысл слова, — не желая самому себе ничего объяснять.

6

Слова, почему-то не подспевают вовремя нужные, вспоминаешь потом, запоздало, и что с них толку? Без слов, кажется, понимал больше, не по отдельности, когда приходится ставить в связь Курочку Рябу, гномов за чужим палисадником, шоколадные скульптуры в витрине, называть сокращение лицевых мышц улыбкой, объяснять ее действие игрой веществ, называемых гормонами, выстраивать для себя доступный пониманию, условный мир, приспособливать безмерное к ограниченному возможностям мозга. Вдруг что-то в мозгу сбивается, перемешивается, не знаешь, как что назвать, — а понимание разрастается, набухает. Смотришь замерши на потолок, сквозь его туманную белизну, пока создание в небесно-голубом одеянии подсоединяет тебя к капельнице, исчезает, успеваешь лишь ощутить, не видя, посланную с высоты улыбку и думаешь о загадке женской улыбки, женской способности обходиться без объяснений, без слов, знать нужное до них, поверх них — возвращаешься опять к Наташе, к Наташе...

Двенадцать лет — невелика разница, с годами она сглаживалась, становилась все несущественней, да я никогда ее всерьез не ощущал. Чужеродное вторглось в нашу жизнь, как зараза, ничто ее не предвещало. Неясное, смутное брожение, бурление в умах, чувствах, слово «перестройка» зачем-то

предлагает себя, как будто что-то может пояснить. Заезжий немец, славист... как его звали?.. Клаус его звали, да, Клаус... расспрашивал меня о происходящем, оценил, выхлопотал приглашение на конференцию в Германию, тогда еще Западную, ФРГ. Происходящее доходило замедленно, воспринималось, как шум в голове: визит в потустороннее учреждение, называвшееся забытым уже словом «райком», райком партии, к которой ты никогда не имел отношения, но она все еще медлила расстаться с правом определять, решать судьбы. Неулыбчивые бесполое существа, помяв, пожурив, с неохотой, со скрипом разрешили открыть двери, выпустили в другую страну — а там другие двери открылись, беззвучно раздвинулись перед тобой сами. Теперь и у нас такие в любом магазине — но впервые! Другой мир, до тех пор ты даже не представлял — реально, не умственно — насколько другой. Другой свет в аэропорту, другой воздух, другие тротуары, дороги, другое выражение лиц, а уж витрины! В первый день особенное впечатление на меня почему-то произвела одна, с громадными фигурными изделиями из шоколада — как на деревенского мальчика. Не потому, что с трудом представилось, как люди здесь могут лакомиться таким скульптурным обилием, находят способ отломить кусочек от этих непомерных гладких объемов, — от удивления, что такое бывает. Смешно вспоминать. Забываем самих себя, какими были совсем недавно.

Ну, и успех, если это можно так называть. Никогда я ни прежде, ни потом не испытывал ничего подобного, просто даже не знал, что такое успех. Разумеется, он больше был связан с интересом к экзотичному приезжему из непонятной, пробуждавшей недоверие надежды страны, тогда я этого не сознавал. Новое состояние охмеляло. Хотя и в моем докладе, может, что-то было. Ирония у Антона Чехова и у Томаса Манна. Чеховский способ смягчать жесткое, жесткое соприкосновение с реальностью, усмешка без глумления, юмор, позволяющий в этой жизни держаться. И аполлоновская отстраненность у другого, взгляд с иронических высот как способ уклоняться от выбора, от окончательных, обязывающих решений — до поры, пока фашизм не навязал позицию, не вынудил определиться без оговорок.

Было охмеление, похожее на ошеломленность, был всплеск восхищения, могло показаться, взаимного. Была женщина, да, конечно, как же без женщины. Гизела, жена... опять выпало его имя... Клауса, да, жена Клауса, из русских немок. Казалось, она поначалу больше оценила во мне собеседника. Кто в этой стране мог с таким пониманием слушать ее рассказы о ссыльном казахстанском детстве, о колючей проволоке, к которой она приблизилась, чтобы нарвать цветов, о полупризрачных фигурах за ней и лицах, повернувшихся к девочке, о глазах, уставившихся на нее? С ней и о Чехове можно было поговорить. О мире его женщин — это она мне напомнила про героя рассказа, который просил жену перевести его на свой язык. Умная, в этом ей не откажешь.

Клаус, думаю, знал, что она приходила ко мне в гостиничный номер. Скорее всего, знал, Гизела, возможно, сама ему про это рассказывала. Я отгонял чувство неловкости, говорил себе, что у них здесь отношения свободные. Ему наши разговоры не интересны, с ним у Гизелы не могло быть такого понимания. Спортивная, коротко стриженная, она казалась скорей суховатой, ровная матовая кожа явно создана стараниями косметологов, но эта улыбка! Да, это про нее потом я где-то прочел: всего лишь автоматическое, отработанное сокращение группы лицевых мышц, направленно, для тебя, сознаешь это, но колдовского ее воздействия не объяснишь. Вдохновение наливалось, твердело, она легко с себя скинула удобно, словно для этого случая устроенную одежду, я коснулся ее...

Не хотелось это вспоминать, с чего вдруг понесло? Стыдно, и как объяснить? Но пальцы вдруг ощутили в нежном месте, на ягодицах, непривычно

шершавую кожу. Непривычно, может, это меня в первый момент смутило. Мне нужно было привычное, вот что я стал тогда о себе понимать. Мой опыт до Наташи был невелик, но подобного со мной прежде не случалось, да и не помнил я уже никого, кроме нее. Можно было потом себе говорить, что ничего я по-настоящему и не хотел, обычный мужской порыв пополнить коллекцию впечатлений. Не побед, увы. Если бы побед! Повторилось, когда Гизела пришла ко мне в номер еще раз. Неживой свет, стерильный, без запахов, воздух, аккуратно застеленная двуспальная кровать... до тоски аккуратно. Хорошо, что на другое утро пришлось улетать.

Я мчался в Москву с мыслью о Наташе, и всю дорогу мысль эта сладостно, утешительно во мне наливалась. Все у меня было в порядке. Я могу любить только ее, считай это особенностью своего устройства. Как не могу жить в другой стране, надо было слетать в Германию, чтобы это понять. И подтвердить, что не хотел бы сюда переселиться, не обошлось и без этой мысли, кого она тогда не навещала? Может, думал, и хорошо, что не получилось. Стыд стыдом, зато можно было говорить себе, что ничего не было, не изменил. Любимой, единственно любимой. Не сумел...

Ох, лучше бы не вспоминать дальше, зачем? Ведь умел же укорачивать ненужные воспоминания, мысли. Но проверено опытом: раз уж позволил им вторгнуться, лучше прокрутить до конца, освободиться. Соня всю неделю оставалась у бабушки, моей мамы, Наташа ждала меня, одна. С дороги понадобилось только заглянуть в ванную, освежиться. В своем отсеке шкафчика я увидел яркий красно-зеленый тюбик, почти выдавленный. То ли польский, то ли французский мужской крем, забытый за ненадобностью или по рассеянности. Зачем-то понюхал, запах показался смутно знакомым. Жирный мясной запах...

Лучше было, наверное, сразу потребовать объяснения, устроить скандал, изойти, успокоиться в крике, в физическом срыве, потом я об этом думал. Помешала ли мысль о собственной измене? Пусть не удавшейся — это тем более не делало мне чести. Выбрасывать тюбик не стал, брезгливо, двумя пальцами, положил в кухне на подоконник, возле горшков с Наташиными цветами, она их по утрам поливала. Не видел, когда он исчез. Ни она, ни я не сказали о нем ни слова, до объяснений так никогда и не дошло.

Списать ли остальное на усталость с дороги, запах ли не отпускал, лишил силы? Долго не удавалось его смыть с пальцев. К вечеру поднялась температура, выяснилось, что я просто болен. Запаренная тетушка из поликлиники присела, только чтобы выписать мне больничный лист, даже рук мыть не стала: вирусная инфекция вокруг, чего тут выяснять. Мы спали с Наташей в разных комнатах. Кажется, на третий день она перед сном принесла мне лекарство, я лежал, отвернувшись к стене, она захотела сама положить мне таблетку в рот, наклонилась. Прямо перед губами оказался ее сосок, пупырышки вокруг него напряглись, проступили. Излечение совершилось без слов, как я в молчании и проболел.

Все, хватит об этом. С чего вдруг всплыло? Зигзаги мысли могут казаться случайными, самовольными, что-то неявное, на глубине, глядишь, проявится не сразу, нечаянно. В неупорядоченном воспоминании больше подлинности. Да я ведь не для кого-нибудь вспоминаю. Так получается. Все. Дальше не надо.

Только объяснить бы еще, почему цветы на подоконнике после моего возвращения завяли. Запах ли держался, мешал, вызывал воспоминание о человеке, с которым Наташа танцевала на кафедральной вечеринке? Смеялась, он вел ее легко, элегантно. Я так танцевать не умел. Модный запах бекона, запах настоящего мужчины, обаятельная улыбка. От всегдашней утренней яичницы стало тошнить, пришлось отказаться. Если бы я его совсем

не знал, не видел их еще потом вдвоем, если бы воображению не представлялись их объятия, ласки, и как она сравнивает... о-о! Наташе было проще: она не видела другую. Грешно сказать, мне стало легче, лишь когда я узнал, что этот танцор погиб в автокатастрофе.

7

Все, действительно все. Устоялось, перебродило, уравнилось. Надо было это пережить, чтобы понять, как я на самом деле люблю Наташу. И убеждаться с годами все несомненной, что любить могу только ее, — можно ли было желать большего? Я с ней жил, то есть с ней мог чувствовать себя полноценно живущим, вот что значило это слово, пусть другие называют это, как хотят. Жил, когда мы дополняли друг друга до целого, соединяясь, и можно было не думать о том, о чем не хотелось думать, не вспоминать о том, о чем не хотелось вспоминать, это все становилось несущественным. Не говоря о том, что она избавляла меня от домашних забот, повседневной долуки, даже от необходимости водить машину — предоставляла мне возможность ощущать себя возвышенным интеллектуалом, немного не от мира сего. (И самой ведь нравилось быть женой непростого человека, пусть не профессора.) Я мог всему знать цену, мог сколько угодно иронизировать над собой, но не просто с ней — через нее ощущал я реальную, не умственную связь с этим миром, с людьми. Даже с собственной дочкой.

Соня с годами, что говорить, неизбежно от нас отдалялась, детьми пока не обзавелась. Ее муж, недавний комсомольский, а может, еще какой-то функционер, теперь упитанный гладкий бизнесмен, казался мне человеком чуждым, даже не просто чуждым. Альберт. Глубокая бороздка под носом, черные после бритья щеки, запечатленная усмешечка в уголке губ казалась почему-то обращенной ко мне. Вы тоже ведь, я знаю от Сони, стояли тогда, в августе, перед Белым домом, да? К кому же теперь могут быть претензии? Что сделали, то сделали. Нет, я не лично о вас, что вы! Тогда на самом деле мало кто понимал, в чем участвует, кому готовит почву. Интеллигенция, как всегда, меньше всех. Кто понимал, тот смотрел из окошка, сверху, слегка отодвинув занавеску, усмехался выжидательно. Другие их не очень-то знают, даже вряд ли догадываются, кто играл в какую игру. У кого теперь реальная власть, это дошло потом, да? Нет, не то чтобы заранее все было рассчитано, важно запустить процесс, так чтоб он дальше уже, как говорят, самонастраивался. Представлять, как реально все происходит. Не по телевидению, тем более, простите, не по художественной литературе. А там лишь аккуратно в нужных случаях подправлять, для других незаметно. Следить внимательно за потоками. Как за какими потоками? За денежными, глубокоуважаемый Леонид Ефимович. За перетеканием собственности. Нет, я тоже не сразу ухватил, не вполне сориентировался, иначе мы бы сейчас сидели с вами не в такой квартире, а хотя бы в пентхаусе... Наташа придерживала меня за рукав. По родственному старшинству я мог говорить ему «ты», он мне «вы» и по имени-отчеству. Чем больше выпивал, тем все сильнее потел, мог подпустить иной раз матершину, для рифмы. Наташа махала на него рукой, Соня смеялась.

Наташа и в этом Альберте что-то находила. Он, оказывается, разбирался в венгерской кухне. Провел в этой стране полтора года, сам неплохо готовил, поделился с ней рецептами. Выбор нашей девочки не должен, не мог быть неудачным. Мне оставалось полагаться на нее. Она со всеми умела найти общий язык. Я без общения мог обходиться, она, кажется, не выпускала из рук мобильник. Вся была в разнообразных хлопотах, в разъездах, опекала в каком-то своем благотворительном центре девочек-сирот, которых

выпускали из детских домов в незнакомую жизнь, совершенно к ней не приспособив. Им давали бесплатно квартиры, не научив искать работу, вести хозяйство — да что там, сварить простые макароны, заварить чай, рассказывала она мне. Брошенные когда-то родителями, они в шестнадцать лет сами собирались рожать и заранее настраивались отказываться от детей, не знали, что с ними делать. Отлучалась иной раз надолго. Не любил я ее отпускать, оживали ненужные мысли, без нее непременно должно было что-то случиться — вот вроде явления этого рыжего студента.

Эту ее поездку тоже можно было назвать благотворительной: повезла продукты в тверскую деревню своей бывшей няньке Фросе. Не родственнице, всего лишь няньке, но та жила в их семье много лет, как родная. Наташа, можно сказать, выросла на ее руках в Твери, то есть тогдашнем Калининe. Когда родилась наша Соня, она позвала эту Фросю в Москву, поухаживать по старой памяти за новым ребенком. Я тогда наслушался ее рассказов. Как она несла в школу Наташе туфельки, уже с каблучками, под мышками, чтобы согрелись. Была склизь, гололед, упала — чувствует в ребрах боль. Оказалось, этими каблучками себе два ребра сломала, да, вот так было. Как лечила Наташу от разных болезней, не нуждаясь в аптечных лекарствах, как хорошо от простуды помогает слой ольховых листьев, если на них полежать и укрыться ими же, но где искать ольху среди городских домов? Надо отдать ей должное, при ней Соня практически не болела.

Нам обоим тогда пришлось работать с утра до вечера. Фрося вела все хозяйство, за магазинные траты отчитывалась до копейки, выкладывала для проверки чеки, хотя мы этого не требовали. А какво было отказаться от ее кухни! Холодец из свинины с остатками щетины на шкурке, или то, что Фрося называла рассольником... до сих пор не могу вспоминать без спазма в желудке. В будни удавалось обходиться институтской столовой, в выходные Наташа компенсировала мои гастрономические страдания. Фросю она старалась не обижать, но непросто было соответствовать ее вкусам, представлениям о правильной жизни. Выбор своей воспитанницы та откровенно не одобряла. Ее возмущала моя утренняя гимнастика, да еще с гантелями, бормотала сама с собой. Дурью мужик мается, делать-то дома нечего, ни дров наколоть, ни воды принести. Когда увидела, что Наташа вместо меня стала забивать на кухне гвоздь, готова была закипеть. Сухая, суровая, губы неспособны к улыбке. Если добавить, что в тогдашнем нашем двухкомнатном жилье четверым было не просто тесно, любовную возню за тонкой стенкой приходилось ночью сдерживать, приглушать... ну, что говорить. Не по ней оказалась столичная жизнь, через полгода вернулась к себе в Марфины Горки. Облегчение было, надеюсь, обоюдным.

Наташа при возможности ее навещала, я как-то съездил с ней. Повезли продукты, крупу, сахар, муку, в деревне тогда все исчезло. А главное, конечно, водку. Не для Фроси, она-то сама в рот не брала и самогон не варила. Водка там была вместо денег, надежнее денег, без нее никто бы ей ни огород не вспахал, ни крышу не залатал. Проблема была в том, чтобы задержать расчет до окончания работы, иначе работники могли упиться, не приступив к ней. Но и начинать совсем без водки местные мужики отказывались.

Угодили как раз в такой промежуток. Плотник Федор, мастер, по словам Фроси, каких сейчас нет, разобрал ей на крыльце прогнившие ступени, новые который день не ставил. Пришлось подложить пока временные кирпичи, досточки, шаткие, опасные. Сходить за ним в дальний конец она при своих больных ногах сама не могла, звать через других таких же старух, последних, кто здесь доживал, тоже не получалось. Теперь можно было послать меня, поманить бутылкой.

Вспоминалось потом, как сон: растянутый, замедленный проход по омертвевшим, поросшим хилой травой улицам. Я слышал, читал про вымирающие деревни, но по рассказам не представлял, что это такое. Наташа наезжала сюда коротко, подробностей не расписывала, да за год-другой менялось, наверное, не к лучшему. Заколоченные окна, проваленные крыши, сквозь одну уже прорастало деревце, остаток стен со следами пожара. На покосившейся изгороди сохли серые мужские подштанники, рядом лиловые старушечьи рейтузы, разнокалиберные стеклянные банки на кольях. Что-то было, наверное, в тот день с давлением, атмосферным ли, моим ли артериальным. Неподвижный прозрачный воздух, напряженные ртутные очертания, нарастающий звон в ушах — и какой-то странный жалобный звук. Человеческий ли стон, собачье ли поскуливание, а может, поскрипывала, скулила незакрепленная дверь или ставня — но звук не отвязывался всю дорогу.

Дверь у Федора была открыта, на стук никто не отозвался. Большая горница имела вид нежилой, пустота делала ее еще более просторной. Голые стены в пятнах, тусклый свет из окна. У печки свалена груда старых газет и журналов. «Огонек» с цветной фотографией Гагарина, «Родная речь» для третьего класса, чуть в стороне распахнувшийся альбом с фотографиями, три-четыре вывалились из него на пол. Чьи-то выцветшие фигуры, головы, с расстояния не разглядишь. Серые, траченные временем семейные отпечатки, тени ушедшей отсюда жизни. Эхо собственного голоса отозвалось на спине мурашками. Я вышел во двор.

Хозяин полулежал под старой яблоней в ободранном раскидном кресле, опасно проступавшие пружины прикрыты прорезиненным пляжным матрасиком. Он, наверное, наблюдал, как я входил и выходил из его дома, — не шевельнулся, не реагировал даже на мое приближение. Багровое лицо в седоватой щетине, пестрая бейсбольная шапочка, ковбойка в сине-белую клетку. На приветствие не ответил, я что-то начал говорить — не откликнулся. Взгляд уперся в мое бедро, в карман, оттянутый бутылкой. Прихватил ее на всякий случай, не более чем для показа, меня предупреждали. И ведь вроде уже не ребенок, мог бы кое-что понимать в жизни, в людях. Пришлось вынуть, продемонстрировать...

Безвольная податливость сна. Мы расположились под той же яблоней за крепко сбитым столом, невымытые граненые стаканы дожидались там всегда наготове. На дне одного сохла оса, Федор выковырял ее указательным пальцем. Чокнулись, понюхали по очереди зачерствелую корочку, он после меня.

— Про жизнь пишете? — заговорил вдруг. Должно быть, при нем упоминали о роде моих занятий. Я неопределенно пожал плечами. Про литературу писал когда-то. Про книги.

— Книги одно, жизнь другое, — оценил, помолчав, Федор.

Мне ли было не признать его правоту? В какие дебри понемногу свернул разговор, теперь уже не вспомнить, и нечего. Я словно еще продолжал надеяться, что плотник, в меру вдохновившись, в каждый следующий момент все же пойдет со мной. Водку, надо признать, я для деревни закупил не самую, как бы выразиться помягче, дорогую. Был грех, сам пить не собирался. Мне первой дозы хватило, чтобы оценить ее действие. Неразборчивый шум в голове, ни пересказать, ни объяснить. Говорил, собственно, один Федор, ему надо было что-то выяснить, подтвердить. Что-то неизбежно про политику, Горбачева, про Брежнева. Про Путина? И про него, наверное, утверждать сейчас не могу. Остатков трезвости или инстинкта самосохранения хватало, чтобы в обсуждения не вдаваться, дошло бы, глядишь, до выяснения взглядов. Но почему-то даже уклончивость воспринималась с нарастающим

раздражением, почти враждебностью, хуже, чем несогласие. «Топор в бревно никогда не втыкают, ты это можешь понять? — внушал мне Федор, он перешел сразу на «ты». — Никогда. Втыкать, а потом затесывать, это же рана для инфекции, понимаешь?» Тон становился все более агрессивным, мысль о воткнутом топоре непонятно плотника задевала. Все стало трухой, направлял он к моему лицу черный ноготь, все! Теперь и хоронят в трухе... И что-то еще о гробах, о грибах...

Или это смешалось потом в смутной памяти: труха, грибы, гробы? Я малодушно кивал, поддакивал. Думал ли о чем-нибудь сам? О чем я тогда мог думать? О деревне, которая для городских интеллигентов, вроде меня, была создана когда-то деревенской прозой, где теперь та и другая? О своей нелепой отравленности литературой, без которой жизнь так же невнятна, как этот шум в голове, как грозный голос без слов, как расплзающиеся вокруг очертания? Нет, мысли составлялись уже задним числом, когда я пытался тот день вспоминать.

Воздух все больше мутнел, его заменяла, густея, дымная мгла. Непонятно было, где и что жгли, дым растекался без ветра, запах был гнилостный и какой-то приторный. Если бы он не вынудил меня наконец уйти, неизвестно, чем бы еще мог обернуться тот разговор. Федор моего ухода, кажется, не заметил.

Сон во сне. Я шел, не выбирая направления, не видя дороги, сквозь непрозрачную муть, настоящую на пьянящей гнили, невнятице мыслей, шел, раздвигая ее руками, касался вдруг то дерева, то непонятно чего. Облезлая, неясной масти дворняга поравнялась со мной, бледно-розовый язык высунут, потрусил впереди, как будто указывая дорогу. Сделала вдруг скачок, исчезла где-то вверху. Колено уткнулось в остаток кирпичной кладки, я не без помощи рук взобрался, испачкав джинсы, на какой-то выступ, другой, там выпрямился — и оказался на вершине холма.

Дым остался теперь под ногами, облизывал шиколотки, подошвы. Передо мной уходил вниз крутой склон, дальше открывался просторный луг, окруженный лесом. Светлый молодой березняк, мягкие округлости, темные пятна хвои, попасть бы туда, но как? Надо было искать пологий спуск. Под ногой что-то шмякнуло — это оказался раздавленный гриб. Из дымных струек в траве стали проявляться другие, похожие на опят или в самом деле опять, иные величины необычной. Оживший инстинкт побудил наклониться, пошарить. Удалось не упасть, пальцы наткнулись на деревянный брус. Это был повалившийся могильный крест. И крест, и табличка с фамилией на нем были тоже покрыты грибами, читалась только дата после дефиса: 1984. Попробовал ее очистить — деревяшка от прикосновения рассыпалась.

Кладбище, не обозначенное оградой, становилось частью березовой рощи, грибных угодий среди уже едва различимых могил. Тишина продолжала звенеть в ушах. И вновь возник тот же звук, скулящий, жалобный, похожий на тихий плач, не детский, не женский. Я шагнул в сторону этого звука.

Из дымной мглы проявилась знакомая ковбойка в сине-белую клетку, кто-то спиной ко мне полулежал на сглаженном могильном холмике, уткнувшись в него лицом, почти сросшись с ним. Плотник с почернелым сбитым ногтем на указательном пальце, только что пытавшийся мне что-то сказать, объяснить, а может, ждавший от меня объяснения, понимания, — как он сюда попал, одновременно со мной, не зная обо мне, о чем он сейчас плакал, не сдерживаясь, не по-мужски, порой словно подвывая? О тенях в семейном альбоме, о лицах, ставших неразличимыми, о топоре, заразившем рану? О гнивающей стране, о жизни, которой не стало и которую покинула заскучавшая литература, обходишь теперь без нее?

Под ногой треснула ветка. Собака возникла из-за холмика, посмотрела на меня большими слезящимися глазами, затрусилась прочь. Ветошка в сине-

белую клетку осталась лежать, безжизненная. Я с усилием продирался неизвестно куда сквозь непрозрачный, задымленный, вязкий воздух. Деревья вокруг лишь казались живыми, гнилушки на стволах издавали запах мазута. Под ногами крошилось битое стекло, чавкала мусорная гадость, полиэтиленовая слизь. Самозародившаяся свалка на глазах разрасталась и разрасталась, заменяла пространство былой природы, и никак было отсюда не выбраться...

Объяснять дома женщинам ничего не понадобилось, достаточно было моего вида. За Федором Наташе пришлось идти на другой день самой, привела его без проблем. Крыльцо он наладил сразу, при мне, на меня даже не посмотрел. В следующий раз я отпустил ее в Марфины Горки одну, отговорить не удалось, так уж эта женщина была устроена, мне оставалось лишь устыженно восхищаться. Недоброе предчувствие, как водится, оправдалось. Наташа собиралась туда от силы дня на три, задержалась уже на шесть, я считал каждый день. У Фроси что-то случилось с электричеством, тот же Федор полез на столб налаживать, упал, разбился. Фрося после этого занемогла, не вставала с постели, в больницу ехать сначала отказывалась. А потом начались дожди, сделали дорогу непроезжей. Даже автолавка, раз в неделю привозившая хлеб и кое-какие продукты, не наведалась в срок — шофер не стал рисковать, боялся застрять в грязи, не добраться. Уж на что классным водителем была Наташа, но и она однажды попалась: неосторожно попробовала переехать безобидную, как показалось, лужу и провалилась по капот, еле потом вытащили. Теперь вот пришлось задержаться. Да еще оставшись без электричества. Последний свой звонок из деревни она едва сумела закончить: мобильник, сказала, вот-вот сдохнет, не знаю, где подзарядить. А сколько продлятся еще эти библейские дожди, скоро ли просохнет после потопа, знать было нельзя. Оставалось ждать...

9

Призрачный электронный перезвон не сразу проник в сознание. Я сидел в своей комнате за рабочим столом, ярко освещенный дом напротив наполнял воздух отраженным светом. *У любви, как у птички, крылья.* Сигнал мобильного телефона доносился из-за стены. *Ее нельзя никак поймать.* Хабанера, Кармен. В воздухе толклись пылинки, окно следовало бы уже помыть. Я не без усилия поднялся, прошел в комнату, где оставил Тольца.

Студент полулежал в прежней позе, здоровой щекой на плече, мобильник канючил в каком-то из скрытых карманов его безрукавки. *У любви, как у птички, крылья.* Рыжий не реагировал, сопел, даже чуть похрапывал. *Ее нельзя никак поймать.* Замолк, не добившись. Кровь на ссадине запеклась, проступала, отблескивая, сукровица. Похоже все было не так уж серьезно, только синяк над глазом набухал. Обойдется, глядишь, без врача. Ждать, пока все еще ждать, только это и оставалось. Пьянчугу я бы сумел привести в чувство, самому случалось напиваться в былые годы, правда, не до такого состояния. Но с этим еще не имел дела, про наркотики знал только понаслышке.

Хабанера все же попробовала еще раз пробиться, пробудить спящего. *У любви, как у птички...* Странно, что молодой человек поставил себе такую классику, сейчас выбирают современное. У моей Сони была Мадонна, она любила напевать по-английски: *What it feels like for a girl.* Дочка, раза в полтора старше, оставалась мне все же понятней этого бедного недотепы. *Ее нельзя никак поймать.* Поколения больше связаны простенькими напевами, чем книгами, это я и по себе еще помнил. Позывными были Галич, Битлы, кто на них теперь откликнется? *Возьмемся за руки, друзья...*

Надо было, конечно, сориентироваться раньше, для начала хотя бы узнать, что эти молодые люди читали, что смотрели из фильмов, которые могли

мне казаться для всех важными. Запоздало догадался провести небольшой опрос. Школьную программу решил для достоверности обойти: моя Соня честно ответила бы, что не читала «Войну и мир», для экзамена ей хватило учебника, я-то знал. «Анну Каренину» читали двое из восьми (будем верить), Библию двое других, Андрея Платонова — никто. «Матрицу» смотрели все восемь, «Бойцовский клуб» — шестеро, «Восемь с половиной» — поднялась была рука, тут же опустилась, без уверенности. «Может, вы имели в виду девять с половиной?» — подал голос все тот же рыжий, Роман Тольц, на физиономии всегдашняя готовность хоть как-нибудь, да сострить. «Нет, не девять с половиной, — ответил я сухо. — Восемь с половиной, великий фильм Федерико Феллини». Аудитория невнятно прошелестела, рыжий стал шептать что-то в ухо девушке, Пашкин с другой стороны от нее прислушивался.

Этим для начала стоило и ограничиться; предложить каждому составить список своих личных предпочтений я остерегся. Заранее можно было представить, как я потерялся бы в обилии неизвестных мне имен и названий, у всех скорей всего разных. И ведь не столько книг или фильмов, больше всего было бы названо музыкальных хитов, песен, групп, да еще скорей всего по-английски. Кстати, насчет «девяти с половиной» этот Рома не так уж поерничал, до меня дошло запоздало. Существовал, оказывается, такой знаменитый фильм «Девять с половиной недель», его даже называли культовым, с Ким Бесинджер. Для них уже старинный, а я и не знал, пропустил. Если бы только это! Мы потом посмотрели с Наташей, у Сони нашелся диск. Затягивающая, болезненная эротика, можно было понять интерес влюбленного неопытного юноши к этой бездонной области, в которой уже не осталось, кажется, тайн и загадок, — но что он мог о ней знать?..

Почему опять стал это вспоминать? После каждого занятия оставалось чувство, что не возникало у меня с этими молодыми людьми не то что контакта — если угодно, резонанса. Как будто настроены были на разную частоту. Если и задавали вопросы, все как-то не о том. Не те, что хотелось бы услышать. Упомянул однажды Ахматову, Лиана, южная красавица, потянула руку: считаю ли я, что между мужской и женской поэзией есть разница? Зачем ей это было нужно? Выдал на эту тему что мог, девушка усердно, быстро записывала. Потом уже я подумал, что был к себе не вполне справедлив, искал причину не там. Но перестраиваться на их волну, если уж пользоваться такими терминами, было поздно, семестра для этого маловато. И не приспособливаться же к другому языку, другим вкусам.

Я ведь и телевизор перестал смотреть, по крайней мере с тех пор, как потерял интерес к футболу, уступил пульт Наташе. Ток-шоу, семейные сериалы, кулинарные рекомендации. Смеялась вместе с аудиторией над намеками, которых я не понимал, над юмором, от которого отстал. Пародия не смешна, если не знаешь объекта. Когда я выходил из своей комнаты, она махала на меня рукой: не смотри, не смотри, тебе это неинтересно. Признавала во мне утонченного интеллектуала, мне нужны другие программы. Так и на других было то же, не обзаводиться же вторым аппаратом.

Впрочем, иной раз звала меня посмеяться вместе. Две красотки обсуждали хитрый вопрос: на каком транспортном средстве Ной увозил своих зверей? «— А кто такой Ной, как ты думаешь? — Наверное, директор зоопарка? — Нет, скорей цирка». Культовая денежная игра. Сошлись на том, что зверей он увозил в каком-то большом фургоне. Или на нескольких фурах. Две студентки, филолог и социолог. Остались без выигрыша.

В апреле я подхватил нешуточный грипп, три занятия пришлось пропустить, вдоволь побродил по Интернету, искал для себя тему или подсказку. Новая культура, виртуальная реальность, линейное мышление. Выпускники школ больше не пишут сочинений. Меняется роль линейного письма в культуре. Мыслить письменно значит мыслить преемственно. Клиповое мышление

позволяет довольствоваться самой короткой памятью. Когда мы входим в культуру сетей и кластеров, линейность и линейная модель истории начинает рушиться. Сложная проза теперь не воспринимается. Скоро может вообще не остаться людей, сохранивших способность читать, то есть связно запоминать хотя бы несколько страниц. Неизбежен переход к мини-жанрам интеллектуальной словесности, типа афоризмов, фрагментов, тезисов, поскольку время страшно уплотняется, на чтение не то что книги, но даже полноформатной статьи не остается времени. Меняется не просто мир, перенастраивается нервная система у человека. Сложная сеть Интернета похожа на устройство головного мозга, ей просто еще не хватает извилин. Надо считаться с неизбежным развитием, прошлым жить нельзя. Скажем тем, кто продолжает заниматься литературой, не замечая ее смерти: пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Общество следует разделить на людей вчерашних и сегодняшних. Вчерашним надо обеспечить условия пристойного доживания, дело других — заботиться о том, чтобы страна вписалась в новую, успешную цивилизацию, могла выдерживать конкуренцию...

Прямо в мой адрес, оценил я с усмешкой. Что-то похожее на инстинкт самосохранения удерживало меня от соблазна углубляться дальше в эти чуждые дебри. От телевизионной примитивности просто было отмахнуться с усмешкой, в изощренности сетевых интеллектуалов словно таилась не совсем еще ясная угроза. Нужно было время, чтобы в ней разобраться. Но пока хоть обогатился попутными сведениями.

10

На последнем занятии я надумал заговорить со студентами о фантастике, любимом чтении моей молодости. Наверняка все читали знаменитый роман о цивилизации будущего, которая для общего блага сочла нужным уничтожать книги, опасный горючий материал. Накануне я перечитал его сам — нет, Брэдбери по-настоящему не объяснил, почему обитатели его благоустроенного мира отказались от литературы, поэзии, не просто от книг. Отказались, если вникнуть, сами, никакого особого принуждения (кроме, пожалуй, рыночного) там поначалу не было. И обходились же, как вполне обходятся и сейчас. (Странно, что великий фантаст не разглядел в совсем уже недалеком будущем книг не бумажных.) Литература, поэзия во все времена были нужны не всем. Фантастика, однако, проявляет, доводит, как ей положено, до крайности что-то, что мы пока лишь неявно чувствуем. Герои Брэдбери кажутся себе вполне счастливыми, но не знают, как заполнить, заглушить возникающую пустоту, почему-то кончают самоубийством. А какие-то отщепенцы, рискуя, спасают от уничтожения, заучивают наизусть, передают друг другу стихи, Шекспира, Милтона, словно в этих буквенных кодах затаена была насущная для жизни магия...

Слушали меня без особого интереса, трое в заднем ряду обменивались записками. Литература, пытался я все-таки донести до них мысль, возникла, видимо, не случайно, зачем-то она была человеку нужна. Библия стала Священным Писанием полумира еще и потому, что удовлетворяла не совсем осознанные потребности...

— Библия — это для религии, — подал кто-то голос. Очкарик с жидкой порослью на подбородке, из тех, что обычно взгляда не привлекали. (Беззубов, уточнил я по списку.) Слава богу, хоть один среагировал. Дал повод заговорить о том, что Библия — величайшая поэзия, что Песнь песней, любовная, свадебная лирика, стала частью Священного Писания, что без поэзии не возникло бы представлений о любви, которая не сводится к сексу, для этого нужно было найти слова...

В воздухе напрягалось что-то вроде интереса — или это мне показалось? Быть может, литература, вдохновлялся я, — наиболее универсальный инструмент, позволяющий полноценно ощущать и осмысливать жизнь в самых разных ее проявлениях. Искусство, поэзия, музыка позволяют сделать окружающий мир более постижимым, оформленным, более приспособленным для жизни. (Не то говорил, не то, я уже начинал чувствовать.) Музыкальная гармония разработана человеком, но она не придумана произвольно, она строится на неслучайных законах, на объективных числовых соотношениях, на частотах колебаний струны...

Я заметил, что рыжий в заднем ряду покачивает головой, на лице кривоватая усмешка.

— Вы с чем-то не согласны? — спросил я.

— Почему не согласен? Эту гармонию сейчас несложно ввести в компьютер, есть программы, выходит нормальная музыка, на заказ. Под нее танцевать классно. Та-та, та-тата-та... — Он изобразил довольно фальшиво, подергивая плечами, в аудитории засмеялись. — В синтезаторе хорошо получается. Можно задать какой угодно стиль, ритм. Из набора, конечно. Простые цифровые порядки.

— Вы хотите сказать, что это будет примитивная музыка? — Мысль мне показалась понятной. Заводить разговор о критериях сейчас вряд ли имело смысл. — Всякая система в культуре отчасти условна, — сказал осторожно. — Сами числа можно считать искусственными порождениями человеческого мозга. Музыка в этом смысле тоже искусственна, да. Но в ней задается основа, соответствующая чему-то в человеческом, мировом устройстве. Неупорядоченный шум может быть элементом музыки, но он не может быть музыкой...

Студент опять покачивал головой, скулы слегка двигались, словно во рту оставалась жвачка.

— Что-то еще хотите сказать? — не выдержал я.

— Смотря что называть шумом. — Он пожал плечами. — Чего не поняли, не упорядочили по-своему, то шум. А если мы просто чего-то не слышим? Еще не настроились, не научились? Может, есть музыка, для которой обычных нот не хватает? Вот мне на компе все не хватает знаков, символов, если бы я знал чего. Сейчас на некоторых устройствах уже не восемьдесят три клавиши, а сто одна, и что это решает? Вылезает что-то, выстраивается, не поймешь, ряд, не ряд, как будто случайный. А если в нем закодированные порядки, неуловимые, текучие, переменчивые?.. Не знаю, как на простом языке объяснить...

— А ты спой, — подал голос кто-то.

— У меня нет голоса.

— А слух у тебя есть?

В аудитории охотно рассмеялись, рыжий тоже как будто развеселился, без обиды.

— Нет, знаете, на что иногда бывает похоже? Как будто рой насекомых. Облако беспорядочных точек, каждая движется кто куда, вдруг одна — раз в сторону, другие тут же за ней, без видимых причин. Почему, со стороны непонятно. Раньше умели выстраивать системы, иерархии, дуальные оппозиции. Хорошо — плохо, красиво — безобразно. Теперь говорят: динамический хаос, рассеянные порядки...

А, ну если об этом... Термины мне с некоторых пор были в общем знакомы, их и в нашей области стали употреблять. Продуктивная бесструктурность, предпочитаем не предпочитать, все блохи не плохи. Не зря во время болезни кое-что на эти модные темы успел посмотреть, мог бы ответить. Неожиданно меня опередил Пашкин.

— Когда нет системы, иерархии, это называется бардак... Извините за выражение, — обернулся в мою сторону. — Динамический хаос, рассеянные порядки, да? — это для вашей информатики. А здесь разговор о культуре, искусстве, обществе. О жизни. В ней без иерархии не обойтись, только она теперь может называться по-другому. Знаешь, появилось такое интересное понятие: джокер?

— Это ты про американский фильм? — скривился опять Тольц. — Или про наш?

— Ладно, прикалывайся перед другими, — отмахнулся Пашкин...

Не уверен, вполне ли точно воспроизводит сейчас память неожиданно возникшую пикировку. Молодые люди явно щеголяли учеными терминами, и не передо мной. Что джокер — это карта, которая по желанию игрока может стать любой другой, я, допустим, знал, игрывал когда-то. И какой-то из фильмов с таким героем или названием, кажется, смотрел, давно, если не путаю. Оказалось, это слово употреблялось теперь в информатике, непонимающим тут же пояснили. Когда в системе возникает неопределенность, джокер неожиданным появлением может ее выправить. Пашкину эти джокеры виделись где угодно, так я, во всяком случае, тогда понял. В политике, общественной жизни, в искусстве, в бизнесе. Бизнес — это ведь тоже искусство. Больше искусство, чем наука. Как и политика, само собой. Кто в это сам не вошел, тот не поймет. Джокер вступает в игру там, где общие правила не работают, где нужны нестандартные решения, нестандартные уровни. Кто-то должен их задавать, а значит, не обойтись без иерархии. Если угодно, аристократии.

— Сейчас все говорят: бардак, бардак. — Пашкин счел нужным все-таки встать с места. — А у нас просто не стало аристократии. Уже забыли, что это такое. Надо создавать новую. Без нее выродится не только страна — человечество, если хочешь... да, да, не надо пижонски морщиться. — Рыжий не переставал кривиться: какая чушь! Лиана поворачивала голову то к одному, то к другому. — Спроси лучше женщину. Они это понимают без теорий, когда выбирают, например, пару. Им надо заботиться о полноценном потомстве, да? — Он скосил взгляд на Лиану.

Этакий куртуазный намек! Девушка почувствовала, что внимание довольно двусмысленно переключается на нее, решила наконец одернуть обоих: да прекратите же, вы мешаете преподавателю.

Собраться заново с мыслями оказалось непросто. Этот парень с колечком в ухе, челкой на лоб странным образом предлагал себя мне в союзники: давно ли я сам толковал об аристократии? От него естественней казалось услышать об элите. Джокеров не мне было обсуждать, я мог только еще раз заговорить о категории людей, способных задавать обществу систему ценностей, духовных, интеллектуальных, политических, нравственных. Если угодно, в перспективе таких, как они, вот эти студенты...

Звонок меня оборвал (а может, выручил). Я дал понять, что занятие окончено. Некоторое время еще сидел за столом, не поднимая взгляд, делал вид, что складываю в папку бумаги. На самом деле мне надо было немного прийти в себя. Не спохватился даже произнести заготовленных прощальных слов: последнее занятие, встретимся на зачете. Что-то осталось не просто недосказанным — казалось, готово было для меня самого вот-вот возникнуть, еще не осознанное. Нет, до понимания надо было еще дозреть...

Встал, направился к выходу и увидел на полу в конце класса, в проходе между столами, бумажный обрывок. Похоже было на одну из записок, которыми обменивались эта троица. Помедлив, все-таки подошел поднять бумажку — просто чтобы не оставлять мусор. Можно было прочесть, не расправляя:

«Была униформа, теперь дресс-код, это иерархия? Проф, коп, без бейджика не отличишь».

Нынешний жаргон. Проф — профессор, преподаватель, это я, допустим, уже знал, коп — в американском сленге полицейский, охранник, это я тоже знал, и насчет бейджика мог понять. Но все вместе? Кто-то кому-то отвечал, вопрос неизвестен. Почерк был явно не женский, неустойчивый, корявый, писал, наверное, кто-то из двух парней.

Прежний язык позабыт, мне на нем говорить уже не с кем. Я задумчиво направлялся к выходу. Пашкин обогнал меня, на ходу обернулся. «До свидания», — сказал вежливо. Я среагировал не сразу, да он и не ждал, отвечать пришлось уже ему в спину. Возле монументального охранника у стойки молодой человек задержался, что-то ему сказал. Охранник расплылся в улыбке, что-то ответил. Они попрощались за руку, точно знакомые. Я последовал за Пашкиным, тоже, проходя мимо охранника, сказал ему: «До свидания». Тот даже не повернулся в мою сторону. Не расслышал, что ли? Я говорил достаточно четко. Не обратил внимания, не счел нужным? Смотрел ли он на меня вообще до сих пор? Студент на бентли и преподаватель, приезжающий на метро, у услуги своя иерархия...

От дверей я обернулся еще раз, словно желая что-то для себя уточнить — и впервые обратил внимание на костюм охранника. Он был совершенно такой же, как у меня, строгого покроя, серый, с зеленой искрой, и галстук того же цвета, узор немного другой, но такой же сдержанный. Униформа? Не это ли имели в виду молодые насмешники? — вспомнилась только что прочитанная записка. И у гардеробщика был такой же, с бейджиком, впервые обратил на это внимание. Вот так. Плохо представлял себе, как выгляжу в глазах других, не думал об этом. Не имело значения, пока об этом не думал. Чем меня это могло задеть? Тем, что про униформу читала их подружка, Лиана? И могла нелестно подумать о вкусе Наташи?..

11

Уводит опять в сторону... О чем я только что?.. Да, о словах. Как будто мне именно их не хватало. Я потом зачем-то еще поинтересовался, выписал для себя кое-какие термины. Стохастические — случайные, но подчиняющиеся некоей тенденции процессы. Странные аттракторы — закодированные, скрытые структуры, способствующие самоорганизации внутри хаоса. Эмергентность — внезапное появление новых качеств в системе. Чужой, незнакомый язык — и при этом чувство, что термины далекой от филологии области могут что-то сказать и о культуре, о поэзии, творчестве. Закодированное, скрытое, необъяснимое, лишь на вид случайное — не о вспышках ли это неуследимой творческой мысли, внезапной, как всякое озарение? На грани, на переходе от непонимания к пониманию — или наоборот, от понимания к непониманию, как на грани пробуждения и сна. Вот: глаза, кажется, открыты, а может, и нет, не важно, потолок перед лицом растворен в рассветных сумерках, словно экран, готовый принять, воспроизвести возникающее в мозгу. Запечатлеть бы, задержать, пока не растаяло, не ушло навсегда: чье-то дыхание рядом, неспособность шевельнуться, повернуть голову, чтобы увидеть, кто это дышит, — и эти вот мысли, совсем о другом, готовность лишь сейчас поймать самое важное в жизни, в людях, в себе, в мироздании... Закрывалось, растекалось, тускнело, едва обозначившись, оставляло после себя лишь безотчетное, неуютное беспокойство. И почему-то не очень хотелось прояснять его до конца — словно понимание могло упростить, умертвить живое чувство. Как ученое толкование может умертвить трепетную, таинственную строку.

Почувствовать, понять загадку, ее очарование, вникать, еще не разгадав... Как тельце маленькое крылышком по солнцу всклянь перевернулось... И мысль

бесплотная в чертог теней вернется... Стоит ли здесь толковать? Странная, вообще говоря, мысль для филолога, человека, который к поэтическому волшебству сам не способен, его служба, профессия — именно тщательный, рациональный разбор, поиск объяснений, соответствий, контекстов, подтекстов. Этим, казалось, я и занимался почти всю жизнь — и лишь порой пробивалось чувство, что до конца в своем понимании предпочитал не доходить. словно это могло испортить мне настроение, вынудило бы засомневаться, что-то перепроверять заново. Потому что дело было не просто в текстах, не в литературе, вот в чем я запоздало стал себе признаваться...

Вы это умеете, у вас счастливое устройство ума, говорил мне уже после защиты диссертации профессор Ласкин, мой научный руководитель. Вы умеете вовремя остановиться. Тяжелый нос, седые волосы из ноздрей, голос на высоких тонах напрягался нечаянным фальцетом, от этого иногда казался насмешливым. Мы ждали с ним начала банкета в ресторане у Красных Ворот, беседовали, еще не усевшись за стол. Но он, похоже, успел уже пропустить рюмочку-другую, стал сверх обычного словоохотлив. Хвалил меня за интересный поворот темы. Не сатира, не юмор, а чеховская ирония, уклончивая недоговоренность. Способ справляться с реальностью, смягчать ее жестокость, не так ощущать ее безнадежность, безысходность, да? Мы еще увидим небо в алмазах — до сих пор ведь ухитряются принимать это всерьез, даже без улыбки. Вникать в текст по-настоящему слишком болезненно, засомневаешься, на чем в этой жизни держаться. Сам-то Чехов знал цену всем этим высоким идеям, которые выстраивала великая наша литература. Что ни говори, с тринадцати лет посещал бордели... ну как же, вы ведь его письма читали? Не просто предельная достоверность — жестокость трезвого наблюдателя. Он ведь сам страдал от собственной трезвости, сам от нее бывал в отчаянии. Помните, как сказал, кажется, Шестов: настоящий и единственный герой Чехова — это отчаявшийся человек?..

Слушать профессора было немного странно, раньше он со мной о Чехове так не говорил. Тему-то дал сам. Писал, правда, немного другое. Общественная проблематика, социальная критика, гуманизм. Потом я подумал, что не все у Ласкина тогда читал, довоенных своих статей он мне рекомендовать не стал. Как будто потянуло вдруг досказать что-то, лично для меня, я не готов был понять, зачем. Похвалы его звучали как-то двусмысленно, становилось порой неуютно. То и дело брызгал мне в лицо слюной, приходилось отодвигаться. Подвыпил, чего уж там. Да я не особенно тогда и вникал, бессмысленно улыбался, кивал благодарно, пропускал мимо ушей.

Можно было понять мое состояние, только что после защиты. Интерьер сталинской высотки, непомерные потолки, под сводами чирикали воробьи. Подходили с поздравлениями, с поцелуями приглашенные, кафедральные сослуживцы, я направлял их к столу. О банкете хлопотал тем временем мой папа, что-то обсуждал с официантами, метрдотелем, уходил куда-то на кухню. Когда он наконец подсел к нам за стол, профессор почти сразу переключился на него. Неожиданно они нашли общие темы, сквозь нараставший застольный шум я улавливал местечковые истории, узнавания. Чтоб я так жил! Подвыпив, оба стали все больше переходить на идиш, немного смущая меня перед сослуживцами, чему-то смеялись, чокались. Нашли, как говорится, друг друга. Ласкин после банкета долго еще не уходил, не успел попрощаться с отцом, дождался, пока тот освободится, продолжал что-то мне говорить, уже совсем пьяненький...

Давние времена, не собирался же вспоминать еще и об этом, зачем? Даже не думал, что столько задержалось в памяти. Не все хочется вспоминать. И нелепый зачет бы скоро забыл. Так получилось...

В этом университете и по моему постороннему, необязательному предмету зачем-то полагалось к зачету сочинить что-то вроде реферата, если угодно, эссе на свободную тему, страницы две-три. Моим делом было их просмотреть, потом беседовать по тексту. Подтвердить, так сказать, результат своих преподавательских трудов. Не знаю, кто это придумал. В интернете сейчас можно скачать хоть диссертацию, на любую тему, не уследишь, во всяком случае, по моему нечеткому предмету. О каком тут говорить результате?

Среди ожидавших меня в аудитории я, как всегда, отметил Пашкина. Не сразу его узнал, не видел недели две. Череп был наголо выбрит — новая мужественная мода, не вполне отросшие усы, огибаая рот, закруглялись у подбородка. Намечался какой-то совершенно другой облик. Необычно было и то, что из всей троицы он пришел один, двое других задерживались. Встретив мой взгляд, почтительно кивнул, но отвечать не пошел, пропустил первого добровольца.

К столу подошел очкарик с начинающейся бородкой, тот самый, Беззубов, знавший, что Библия — это о религии, подал свой реферат. *Место культуры в обществе потребления*. Тема, что говорить, по специальности. *В контексте общества потребления сама практика потребления...* дальше можно было не беспокоиться. Не сложней, чем о Библии. *Не просто приобретение товаров, но и принцип, по которому моделируются отношения в социуме...* Беда, что сам язык вызывал оскмину, да ведь можно было не вслушиваться. Посмотрел в зачетке, что ему поставили до меня. Два «хорошо», по каким предметам, прочесть не смог, специальности неизвестные и почерк был неразборчив, как на аптечных рецептах. Положусь на коллег. Слушал вполуха, думая о чем-то своем. Непонятное слово заставило однажды встрепенуться.

— Как, как? — переспросил. — Как вы сказали? Симукляр?

Студент скосил очки на бумагу, неуверенно поискал, нашел пальцем:

— Это в современной культуре называется... симулякр, — поднял немного встревоженный взгляд. — Да, — подтвердил, удостоверюсь еще раз.

Со второй попытки произнес все-таки правильно. Спросить его, что это такое?

— Так выразился Бодрийяр, — опередил он вопрос, заглянув опять в текст. Ого, и про Бодрийяра знает. — Французский философ, — пояснил для меня, чтобы не оставалось сомнений.

Что я мог на это сказать? О чем еще было спрашивать? Замечательно, одобрил кивком. Если угодно, прекрасно. Вот ваша зачетка, молодой человек, до свидания. Хотя видимся, скорей всего, последний раз, больше не придется.

Стоило бы просто собрать сразу у всех зачетки, расписаться, не спрашивая. Кто-то, может, так и делал, я не смог. Старомодные комплексы, привычка соблюдать хотя бы формальности, ритуал. Сидел и думал, что этот первый университетский зачет, скорей всего, окажется для меня и последним. Договора у меня не было, почасовик. Пробный, экспериментальный курс, до конца семестра меня дотерпели. Предстоял, наверно, разговор, стоило бы его начать самому. Хотя проще бы и без разговора. Как теперь говорят, по умолчанию.

Девушка в цветастом платье положила передо мной на стол свои листы. *Гендерные тенденции в современной культуре, на материале женской прозы*. Крупная, без надобности поплневшая. Когда-то поэт мог бы такую назвать волококой, но кто-то сказал бы о ее глазах: коровьи. Зависит от состояния лица, которое называют выражением. Освещено ли оно изнутри чувством, мыслью, озабочено ли другими, непоэтическими, проблемами, пищеварения например. Или, вот, необходимостью получить мой автограф в книжице.

— Писательница раскрывает нам мир современной женщины... — Слух на время настроился, опять отвлекся. Что говорить, женщине дано знать что-то в принципе недоступное мужчине, но может ли она это осмыслить, выразить, рассказать лучше, чем он? Описать, скажем, роды. Или кормление грудью. Слова может найти и мужчина, у женщин получается не лучше. Иные лишь воображают, что у них лучше. — Бесстрашная откровенность новой прозы... — Студентка переводила взгляд со своих листков на меня, то и дело выискивая на моем лице подтверждение: правильно ли я говорю? Я автоматически кивал, пытался вспомнить фамилию писательницы, которую незадолго перед тем с интересом читала Наташа, я тоже заодно заглянул. Четыре бабы рассказывали по очереди о себе и о подружках, не стесняясь в выражениях. «Я обследовала ее влагалище, мужчины там не было, запах спермы я бы узнала», что-то в таком духе. Следом вспомнилось, как однажды у подъезда Наташу перехватила для разговора соседка, пришлось постоять в сторонке, слушать. «Я говорю гинекологу: зачем мне садиться в кресло? После того, как тринадцать лет назад умер мой Георгий Семенович, в мой дом не ступала нога мужчины. Кроме слесаря, конечно, или телемастера...»

Усмешка застыла на губах, я обнаружил, что студентка смотрит на меня испуганно: не над ней ли смеюсь? Может, она смотрела на меня уже неизвестно какое время, молча, дожидаясь вопроса. Не заметил, отвлекся на свои мысли, нехорошо. Какие тут могли быть вопросы? Вашу зачетку, девушка. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания. И вам того же.

Я проводил ее взглядом. В аудитории оставались еще четверо. Пашкин сидел в дальнем конце, откинувшись на спинку стула, время от времени поглядывал на часы, то есть на свой гаджет, держал его перед собой открытым, выходить к столу не спешил. Почему так невольно притягивал взгляд этот его бритый череп? Я перевел взгляд на оставшихся: кто следующий?

И словно дуновение ветерка: вдруг открылась дверь, появилась Лиана. Лиловый жакет поверх облегающего черного платья, плоская сумка на ремешке. Остановилась у дверей, стала извиняться за опоздание: с утра на дорогах такие пробки. Я кивнул, сдерживая улыбку: проходите, проходите. Пашкин неожиданно встрепенулся, поднялся будто ей навстречу, пошел к моему столу, опережая вставшего секундой раньше соседа.

13

Заголовок вместе с именем автора был вынесен на отдельный лист реферата: *Фактор джокера в новой культуре*. Я вскинул брови.

— Опять этот джокер? — Поднял на студента взгляд поверх очков. — Чем-то этот персонаж, я смотрю, вам дорог?

Пашкин неопределенно пожал плечами, губы тронуты полуусмешкой. Дужка усиков поверху неуловимо их облагораживала. И этот бритый череп! Как могут сделать человека почти неузнаваемым всего лишь перемены в волосяном покрове! Вот ведь, и колечко из уха исчезло. Другой человек. Я перевернул заглавную страницу, открыл текст.

Системы, богатые информацией, менее упорядочены... Читать приходилось с усилием, мысленно приспособивая посторонний язык к своему, доступному пониманию. *Математические модели позволяют исследовать механизм непредсказуемых явлений...* Известный, беспроегранный прием: озадачить экзаменатора чем-то для него непонятным, дальше плести, что хочешь. И вроде не скажешь, что не моя тема, заголовок предлагал себя прояснить, что-то уже было подсказано. Хотя математика вроде бы не его специальность. Скачивал откуда-то, не скачивал, значения не имело, зачет я ему все равно поставлю, как поставил уже другим, заранее был готов, вникать безнадежно.

В разных областях жизни, в культуре, экономике, в обществе известны процессы не до конца понятные, как будто неуправляемые, непредсказуемые... О культуре, уже тепло. А вот и джокер. Наличие джокера в системе намного увеличивает неопределенность и усложняет ситуацию...

Я снял очки, вернул реферат Пашкину. Показал пальцем на строку о неуправляемых, непредсказуемых процессах: не можете ли пояснить, что вы имеете в виду?

Пашкин пожал плечами: ну, это то, что сейчас во всем мире. Все усложняется, экономика переплетена с политикой, за глобализацией не уследишь. Небывалые технологии, производительность труда стала такая, что меньшинство может прокормить большинство. В истории такого еще не было. Большинство может не работать, только качать права и голосовать. Впереди, естественно, процветание и прогресс, доказано специалистами. Вдруг — что такое? Кризис. Все почему-то расплывается, перестает работать, те же специалисты задним числом ищут новые объяснения. В культуре те же процессы. Искусство становится неинтересно, вместо произведений перформансы, попробуй их еще понять. Была иерархия ценностей, сейчас это называется рейтинг. Были гении, сейчас делают знаменитостей. Была аристократия, сейчас говорят элита. А кто такая эта элита?.. Ну и так далее...

Он посмотрел на меня, сделал паузу: нужно ли продолжать?

— И тут появляется джокер, — понимающе кивнул я. Слово об элите позволяло мне все же направить разговор. Не о системах же и математических моделях было спрашивать. — Я помню, вы как-то связывали его с понятием аристократии. С необходимостью новой иерархии. И ваш приятель стал с этим спорить, помните?

Пашкин широко улыбнулся.

— Ну, мы с этим Ромой, с Тольцем, поцапались, как всегда. Не всерьез, конечно, с ним же нельзя всерьез, вы же его знаете. У нас разные специальности. У него информатика, у меня бизнес. — (Не упустил, однако, случая мимоходом лягнуть перед девушкой отсутствующего соперника, усмехнулся я про себя.) — Джокер — это для меня, как теперь говорят, человеческий фактор, — вдохновлялся между тем Пашкин. — Вы, может, знаете, есть такая древняя легенда: два короля на вершине холма играют в карты, а внизу сражаются их войска. И вот один начинает выигрывать, прибегает гонец: войско противника внизу разбито. Знаете?

— Известный сюжет, — я начинал понимать, к чему он клонит. Становилось интересно. — Только в легенде короли играли, кажется, в шахматы.

— Может, в шахматы, — легко согласился Пашкин. — А может, и в кости. Кости, говорят, ложатся не совсем случайно, некоторые умеют их направлять силой взгляда. А что, я вполне верю. Но в карты больше возможностей, и там играет роль джокер. Я видел на днях фильм, там люди живут на бывшей промышленной территории, в каких-то заброшенных цехах, ну, как у нас сейчас повсюду. Кое-как кормятся...

— Бомжи? — Я узнал роман недавнего лауреата. Успели, оказывается, даже экранизировать, так быстро?

— Почему бомжи? — удивился Пашкин. Нет, романа он не читал. На книги у него сейчас вообще нет времени, кино воспринимается лучше. Действие в фильме, стал рассказывать он, вообще не у нас. То ли будущее, то ли другая планета, после неизвестной катастрофы. Такая антиутопия, фэнтези. Где-то сохранились склады с провизией, за них идет борьба. Если не организовать справедливое распределение, долго на всех не хватит, еще и переделаются. Выбирают распорядителя, человечка на вид неприметного. Он тут работал когда-то в охране, знает ходы-выходы...

— В романе намекалось, что он из органов. — не удержавшись, заметил я.

— Нет, в фильме про органы прямо не сказано. Здешний работник, ориентируется в ситуации. За него охотно голосуют, все честно. Вообще полная демократия. Все решается большинством. Воровство надо наказывать, в наказании должны участвовать все. Сами придумывают пытки, есть, между прочим, очень зрелищные, изобретательные...

Я слушал, отмечая то и дело совпадения, переключки. (Или кто-то кого-то использовал?) Роман ведь тоже начинался со сцены публичных экзекуций. От словесных описаний меня, помнится, начинало поташнивать. На экране ужасы умеют подать впечатляюще, известное дело. Как же в кино без насилия, без красивых кровоподтеков! Экшн! В фэнтези правдоподобие обсуждать бессмысленно, умелые авторы это усвоили. Может, и роман следовало воспринимать как легенду, притчу. До конца-то я его не прочел. А в фильме сюжет, рассказывал Пашкин, поворачивался любопытно. Вокруг недавнего охранника выстраивается новая иерархия. Тот сам преобразуется даже внешне. Недовольных и несогласных по ходу дела устраняют, общине нужна стабильность. Насчет процветания речи пока нет, но появляется в жизни порядок, устойчивость. И, между прочим, смысл. Есть свой интеллигент, он разрабатывает для джокера концепции, пишет речи.

— В культуре не может быть равенства, — излагал его идеи Пашкин. — Равенство — торжество кладбища. Демократия — торжество посредственности. Направлять развитие должны — явно или неявно — носители новой жизненной силы... Ну, в таком духе, — студент почувствовал, что увлекся. Он рассказывал с видимым удовольствием. Полуушмешка держалась на его губах.

— Интересно, — оценил я. — Фантастика, по вашей мысли, насколько я понял, немного и о нашей, реальной жизни? И кто у нас, по-вашему, может сыграть роль этих носителей силы? Или уже играет? Интеллигенты — в роли обслуги, это я уяснил. Новые русские в малиновых пиджаках? Недавние охранники, как в этом кино?

— Почему малиновые пиджаки? Где вы их сейчас видите? Охранники?.. — Ушмешка студента показалась мне кривоватой. — Если вы имеете в виду моих предков... Многие начинали, конечно, с нуля. Если угодно, с минуса. Мой отец начинал простым милиционером, участковым уполномоченным, теперь он, между прочим, коллекционирует антиквариат, бронзовый...

До меня дошло, что я неумышленно мог задеть Пашкина. О его семейной истории, отцовском бизнесе я не знал ничего, как ничего не знал и о других студентах. Чтобы познакомиться с их личными делами, надо было поехать в главное здание, мне это не было нужно, зачем?

— Вы бы посмотрели, какие у него сейчас статуэтки, непальские, китайские. Ну да, он не очень пока разбирается, но о чем-то уже может говорить. Есть профессионалы, эксперты, если надо, они на него будут работать. Для отца когда-то не было разницы: пить бормотуху из эмалированной кружки или вино из тонкого бокала. А вот я уже из кружки не могу. И в винах стал разбираться. И в устрицах, знаю сорта. Утонченности, может, не всегда хватает, появится, глядишь, потом. В следующих поколениях. Оформится, глядишь, и новая наследственность. Сначала деловые отношения, потом родственные...

В речи Пашкина, в его лице чувствовалась напряженность. Мне показалось, он говорит как будто не совсем для меня, прислушивается или будто пробует уловить чью-то реакцию позади себя, затылком. Я посмотрел мимо его щеки: за его спиной сидела Лиана. Совсем про нее забыл, он ее от меня загораживал. Это ее присутствие он за собой ощущал, это на нее, на свою восточную красавицу хотел произвести впечатление. Дождался, пока она придет, надеялся перед ней блеснуть незаурядным рефератом — не передо мной, и она не сводила с него заинтересованных глаз. Вот что я не сразу понял, не оценил. А ведь у него получалось, ишь как распелся. Я своими

вопросами невольно ему помогал, сам того не подозревая. Может, даже против желания...

Стало чуть неловко — и в то же время как-то весело. Не мне было изображать перед другими потомственного аристократа. Самому было знакомо это наследственное, плебейское безразличие к вещам, не то что к антиквариату, неумение разбираться в одежде, посуде, мебели — я эту область жизни предоставлял Наташе.

— Вы тоже интересуетесь антиквариатом? — Неловкость надо было как-то загладить. — У вас что-то есть?

— Ну, какой антиквариат! Куда мне! Я в бизнесе только начинаю. Недавно, правда, увлекся такими оригинальными штучками, мне в Лондоне показали. Удлиненные монеты, по-английски elongated coin. — Пашкин высвободил из-под рубашки что-то вроде медальона на цепочке, показал. — То есть одно время они были редкостью, есть очень старинные, потом стали бизнесом, для коллекций, для сувениров. Я немного попробовал, не ширпотреб, нет. Ширпотреб меня не увлекает. Уникальные, штучные изделия.

Увидел, что я не могу разглядеть издали, снял цепочку с шеи, протянул. На удлиненном овале рядом с крупной цифрой «10» внутри изящно выгисненного орнамента (кусающая свой хвост змея) не совсем ясно читалось «Ismai...». Пришлось снова надеть очки.

— Из-ма-и, — стал разбирать я вслух.

— Памятная медаль, к юбилею, для дружеской фирмы, — немного поспешно пояснил Пашкин. — Сплав серебра с редкими металлами.

Интонация его становилась почему-то суше, но сам голос казался каким-то другим, поставленным, что ли.

— Измай... лов... Измайлов, — наконец прочел я вслух правильно. Туго же я в тот день соображал. Слегка скосил взгляд на Лиану. Она прислушивалась к нашему разговору, забыв про свои бумаги. Пашкин сидел неподвижно, ровно, боковой свет из окна позволял оценить ухоженность кожи; прежде, помнится, она казалась грубоватой. Кто знает, подумал, может, перед тобой в самом деле потенциальный, не вполне пока оформленный аристократ. Нужно время. Женщина, тут, конечно, влияние женщины...

Зачетка лежала передо мной открытая. Я снял колпачок с ручки. Вот ведь что делает молодая влюбленность. Оставалось, однако, чувство какой-то недоговоренности. Я ведь сам его текст по-настоящему еще не прочел, что-то в нем померещилось.

— Если можно, — сказал, протягивая студенту книжицу со своим автографом, — я на время возьму ваш реферат себе, почитаю внимательней.

— Конечно! — искренне сказал Пашкин. Взял зачетку, сделал шаг от стола, вдруг обернулся. — Спасибо вам за разговор, — добавил неожиданно. — Я с вами кое-что сегодня лучше стал понимать.

Нет, надо было признать, что-то в этом парне было. Отходя от стола, он все-таки переглянулся с Лианой. Та развела руками, качнула головой, приподняв брови — в жесте удивления или восхищения можно было уловить оттенок недоверчивой иронии: не ожидала. В руке студента заверещал мобильник — поторопился включить, еще не дойдя до дверей. На секунду остановился, поднес к уху. Я успел услышать короткое: «Да, можно». Бизнес, ничего не скажешь, ни секунды терять не хотят.

Еще два зачета я поставил быстро, о чем мне говорили, теперь, честно сказать, сразу не вспомнишь. Так забываешь лица и фамилии, когда в них отпадает необходимость: экономный механизм памяти. Время от времени

я поглядывал на Лиану, она все перебирала, перекладывала перед собой какие-то листы. Перечитывала свой реферат, готовилась? Считала ли, что должна ждать очереди, раз пришла последней? То и дело поглаживала пальцем свой смартфон, раз-другой он издавал короткий писк. Сообщал что-то, подтверждал ли? Не знаю, полагалось ли эту нынешнюю технику отключать на экзаменах, не имел еще с ней дела — и какая разница? Можно было подумать, что девушка нервничает, вот уж не ожидал. Как-то встретила со мной взглядом, я отвел глаза первый.

Когда мы остались с ней вдвоем, она собрала наконец страницы, небрежно прихватила свою сумочку и пошла к моему столу — по пути расцветая неотразимой своей улыбкой. Ее одной было достаточно для зачета, она это знала, да я сопротивляться и не собирался. Оглянулась зачем-то на дверь, словно опасаясь, не войдет ли кто. Не дожидалась ли, в самом деле, пока останется со мной в классе наедине?.. Ну что теперь вспоминать возникавшие мысли.

Тема ее оказалась для меня совсем неожиданной: мифология неизвестного мне Азазила в поэзии неизвестной мне Хавы. Просматривать реферат не имело смысла, достаточно было пробежать по страницам взглядом и просто слушать девушку, ее голос. Азазилом, как вскоре было объяснено, именовался в мусульманских апокрифах падший ангел, известный у нас как Азазель. Под именем Хава (по-русски соответственно Ева, этого мне можно было не пояснять) скрывалась в начале прошлого века поэтесса, о которой даже на родине, в Азербайджане, до сих пор никто не слышал. Ее стихи были обнаружены лишь четыре года назад в сундуке у каких-то дальних родственников Лианы, бумаги попали к ней (каким образом, девушка уточнять не стала), она ими и занялась. Пока сумела выяснить не так уж много — кроме того, что писала о себе сама поэтесса. Можно было понять, почему тайла свои стихи женщина в мусульманской, очевидно, семье, во всяком случае в мусульманской стране, а если бы еще открылось содержание стихов — ее могли в старое время просто побить камнями. В стихах и в сопутствующих пояснениях фигурировал Азазил, тот самый иудейский Азazel или Азазель, падший ангел, у мусульман дьявол, иблис. Сведения о нем можно найти не в Коране, а в мусульманских апокрифах, хадисах. Этот Азазил изобрел оружие и косметику, научил мужчин искусству воевать, а женщин искусству соблазна или, как некоторые говорят, обмана. (Стрельнула мимолетным взглядом.) Главное же, в поэзии Хавы он отождествлялся со змеем, тем самым, что соблазнил в раю первых людей, из-за него им пришлось оттуда уйти. Но Хава его за это деяние славил, в ее стихах выстраивается своего рода культ змея-Азазила. Если верить дошедшим легендам, у нее самой в доме жила большая змея, похоже, питон. Какие-то стихи навели недоброжелателей на мысль, что поэтесса, попросту говоря, жила с ним...

Я слушал не перебивая, не вставляя вопросов, возможно, слегка приоткрыв рот. (Не потому ли, вспомнил, девушку время назад заинтересовало отличие женской поэзии от мужской?) Стихи Лиана цитировала в своих переводах. («Я, конечно, не поэт, это почти подстрочники, не для печати».) *Не стой у закрытых ворот, / Не требуй убогого счастья.* — Это она обращается к своему возлюбленному, — поясняла, привычно улыбаясь. — *Хочу перемен и забот, / Исканий, забвения, страсти.* Кажется неожиданным для женщины, которую называют восточной, да? Но в Европе не совсем представляют ее подлинную роль. Чадра, шариат, роль служанки в семье — да, это было и до сих пор где-то есть. Но во многих случаях во многих мусульманских семьях женщина только играет роль слабой, реально она ведет дела, принимает решения. Как говорят, вертит мужчиной, и некоторые считают, ему же на пользу. Есть русские женщины — такие самостоятельные, равноправные,

и такие бедные, да? У Хавы не так просто. Она вся в противоречиях, не может сама себе объяснить, чего хочет. Возлюбленный обещает ей все, чего она пожелает, готов исполнять любые ее прихоти, соблазняет возможностями. Как женщину ее, конечно, привлекают благополучие, успех, уверенность, сила. Но она еще и поэт, не совсем обычная женщина. Ей нужно единственное, несравненное, неожиданное. И этот змей, то есть через него Азазил, то и дело ее смущает, нашептывает: *Ты создана не из его ребра. Изогнутого не выпрямляй, сломаешь. Гламурный рай не для таких, как ты...*

— Простите, — тут я вынужден был ее прервать, — слово «гламурный» вряд могло употребиться в начале прошлого века.

Что говорить, уже напрашивалась догадка: не свои ли стихи читала Лиана, приписывая их вымышленной поэтессе, сочинила целую мифологию, использовала как тему для реферата? Ну и прекрасно! Не проверять же, и зачем? Что-то, право, неожиданное было в этих стихах.

— Да, да, конечно, — девушка слегка зарумянилась, — я сама знаю, но не могу найти по-русски точное, чтобы передавало смысл. Рай в ее стихах — роскошное, но скучное место. Если бы вы знали язык, могли бы посоветовать. Еще у Хавы есть слово, — Лиана произнесла его по-азербайджански, я не уловил, переспрашивать не стал, — тоже не знаю, как его перевести. Может быть, гениальность, гений? Там, в стихах, мысль о том, что считать несравненным. *Быть гением — не каждому по силам...* Гениальность — это что-то самое высокое? Больше, чем способности, чем ум, чем талант? Или что-то еще? Хава готова ценить то, что ей кажется гениальностью, но сомневается, приносит ли она счастье. Как вы считаете?

Вопрос был неожиданный. Если он связан был со стихами — чьи все-таки это были стихи? Что-то от меня ускользало. Я пожал плечами.

— Мне кажется, гениальность — это не просто высшая степень каких-то способностей, прежде всего творческих. И со счастьем она никак прямо не связана. При жизни, во всяком случае, вознаграждается редко. Есть вещи, которые воспринимаются не сами по себе, а в системе, обществом. Надо, чтобы гению сначала сказали, что он гений. Обычно такие люди бывают скорей непрактичны, сами об успехе не заботятся. Это естественно, они думают о другом. опередили других, значит, какое-то время остаются непонятыми. Иногда всю жизнь. Чувствуют себя среди других чаще всего неуютно, не очень сами себя понимают. Если и счастливы, то как-то по-особому. Несравненно, как выразилась ваша поэтесса.

— Вы тоже, значит, наверняка не знаете, — задумчиво подтвердила Лиана.

Я развел руками. Снял колпачок со своей ручки, расписался сначала в ведомости, подвинул к себе ее зачетку. Девушка зачем-то вновь оглянулась на дверь, словно боялась, не войдет ли кто.

— Можно я вам еще почитаю? — сказала вдруг.

Что я мог возразить? Мне спешить было некуда. Не оставляло какое-то странное чувство: казалось, что девушка все чего-то не договаривает, медлит, чего-то еще ждет. Лиана, гибкий побег, обвивает, кольцо за кольцом. *Не думай, я слабее, чем кажусь, / Но виду не подам...* Я уже расписался и в зачетке, ждал, пока она дочитает. Студентка взяла зачетку, сложила свои бумаги, тщательно пристроила их в сумке, стала в ней что-то перебирать. Наконец поднялась, почему-то вздохнув, медленно, словно с неохотой, направилась к двери. Оглянулась на меня — лицевые мышцы вновь выдали отработанную пленительную улыбку. Что все это, однако, значило? Зачет она уже получила, ждала чего-то еще? На что я не мог откликнуться? Ведь не мог же, нельзя этого было не понимать. Сам должен был признать, что бы о себе ни воображал. Увы. Испорчу жизнь... Все, улыбнулся в ответ, зачет окончен. Закончен, ничего не поделаешь. Надел колпачок на ручку, спрятал в нагрудный карман. Отработал...

В это время дверь неожиданно распахнулась и не вошел — ворвался этот рыжий, Роман Тольц.

— Извините, — остановился возле дверей, увидел, что за столом я один. Я-то совсем про него успел забыть. Возник в последний момент. Лиана, поравнявшись с ним, вдруг пихнула юношу локтем в живот, больно, рыжий даже согнулся. Я сам невольно вздрогнул от неожиданности. Это что, у них такая манера здороваться? Или какие-то неизвестные мне счеты? Прошла, не оглядываясь, дальше. Он недоуменно проводил ее взглядом. Дверь громко хлопнула.

15

— Извините, — повторил, остановившись перед моим столом. Светлая рубаша выпущена из-под серой безрукавки со множеством карманов, молния на одном расстегнута. Я жестом показал: проходите, садитесь.

— Пробки? — облегчил ему объяснение.

— Нет... То есть да, но еще и менты задержали. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Сказали, что машина похожа на какую-то, которую угнали, надо что-то сверить, проверить. Даже мобильник зачем-то взяли. Думал, будут опять тянуть бабки... то есть деньги, нет. Ждали чего-то, какого-то подтверждения. Не знаю, что им подтвердили. Отпустили, даже извинились.

Я слегка развел руками: чего только в наше время не услышишь, приходится верить. Еще раз показал взглядом: садитесь, садитесь. В ушах еще не совсем отзвучал голос, музыка стихов. *Не стой у закрытых ворот...* Тольц извлек из обширного кармана помятые листы, развернул, протянул мне. Нельзя было не оценить практичность этой одежды, можно обходиться без портфеля, без сумок. В былые времена такая была бы незаменима для шпаргалок. Но зачем сейчас шпаргалки? Другая техника, другие возможности, достаточно кнопки в ухе. *Не требуй убогого счастья.* Хотя бумаги лучше бы все-таки не мять.

«Фактор джокера в новой культуре» — заголовок вверху страницы заставил меня вновь вскинуть брови. Пробежал взглядом по строчкам. *Системы, богатые информацией, менее упорядочены...* Вот уж к чему я был совсем не готов. Вынул из файла оставленный на столе реферат Пашкина, перевернул первую страницу. Слово в слово. *Непредсказуемые процессы в сложных системах...* Точная копия. Только у Пашкина заголовок с именем автора вынесен на отдельный лист, этот сэконоимил бумагу, вся разница. И на файл не потрагился. *В разных областях жизни...* Тольц следил за моим взглядом. Я качнул головой, убрал первый лист, остальные протянул студенту.

До него дошло как будто не сразу. Перелистнул страницу, другую, снова вернул первую.

— Откуда это у вас?

— Это, может, вы мне объясните, откуда у вас такой же? Скачано из одного источника. Даже шрифт такой же.

— Я ни у кого не скачивал. — Лицо Тольца пошло красными пятнами. Чем неудобна белая кожа у рыжеволосых: откровенна, ничего не скрывает.

— Допустим, из Интернета? — Не настроен я был никого разоблачать, предпочел бы обойтись без объяснений. Но поневоле приходилось договаривать, ничего не поделаешь. — Сейчас обычное дело.

— Это не из Интернета.

— А откуда же?

— Из моей головы. — Постучал костяшками пальцев по лбу. — Я к своим выводам пришел путем мучительных размышлений.

Бедняга. Ему проще было паясничать в таком демонстративном шутовском стиле, чем признаться в заурядной, по сути, проделке. Других я уличать

даже не пробовал, какой смысл, всех ведь отпустил с зачетом. Пашкин успел раньше, для беседы текста почти не понадобилось, обошлись без материй, для меня малопонятных. (А ведь показалось даже интересно, вот ведь разочарование. Жаль, и ничего не поделаешь.) Этому просто не повезло, но ведь не хуже других. Охотно бы дал ему соврать, но теперь как? Оба оказались в глупом положении. Между прочим, рыжий даже не поинтересовался, кто мне принес этот второй экземпляр. Знал кто? Догадывался?

— Может, кто-то у вас списал? — попробовал я подсказать выход. — То есть скачал? Вы кому-то давали, показывали?

Он пожал плечами. Продемонстрировать ему просто фамилию? Что-то меня удерживало, не хотелось ничего прояснить, ничего переигрывать, и какая разница, из какого источника? Из одного. Друг у друга приятели скачивать бы не стали, нелепо, знали же, что попадутся.

— И никто в ваш компьютер не мог проникнуть? Какой-нибудь изошренный... как это у вас называется? Хакер? — зачем-то все же искал я для него (и для себя самого) еще одну правдоподобную подсказку. Снова пожатие плеч. Становилось не столько противно, сколько скучно. Чего я от него ждал, чем был разочарован? — Ладно, будем считать, чудеса. Возможны же совпадения невероятные. Почти невероятные. — Я чувствовал, что сам, поддавшись, начинаю язвительно ерничать чуть ли не в его духе. Не стоило же так просто выгонять беднягу, несправедливо. Надо было искать выход. — Кто это говорил: обезьяны, стуча по клавишам наугад, могут написать нечаянно «Илиаду»? Доля вероятности подсчитана, какая-то многомиллионная, вы в математике разбираетесь лучше. Или появился действительно небывалый гений.

— Сукин сын! — фыркнул юноша.

— Кто?

— Пушкин, — студент слегка скривил губы. — Это он так про себя однажды сказал, — опередил Тольц мой следующий вопрос: — Ай да Пушкин, ай да сукин сын, да? Сегодня я гений.

Нахватался окололитературной эрудиции, сейчас это модно, годится для телевизионных викторин. И то смешал сказанное по разным поводам. Студент смотрел теперь мимо меня, челюсть то и дело начинала двигаться. Непонятно, что жевал, непонятно, о чем думал. Недовоспитанный ребенок, на грани хамства. До сих пор не научился вести себя со старшими, тем более с преподавателем. Тем более на зачете.

— Может, наконец прекратите жевать? — уже начал раздражаться я.

— А?.. Извините. У меня во рту ничего нет. Не осталось. Я нервничаю.

Ах нервничает!

— И что же вы жуете?

— Пустоту. Остатки воспоминаний. Мне это помогает сосредоточиться на мыслях.

— Ну что ж, — не стал продолжать я. Надо было как-то кончать, не тянуть же дальше вольнку. — Сосредоточьтесь и расскажите, к чему вы пришли путем мучительных размышлений. Непредсказуемые процессы в сложных системах... — Я заглянул в свой экземпляр. — Как вы это понимаете?..

Опять это неохотное пожатие плеч, точно его заставляли говорить против желания:

— Ну что тут понимать. Сложная система, в ней множество элементов, в каждой множество степеней свободы. Не очень-то предскажешь.

Замолчал. Мог бы говорить с экзаменатором другим тоном. Я все же попытался его подтолкнуть:

— А если не в специальных терминах? Вы же не об информатике пришли со мной говорить. Как это понятие можно отнести к культуре?.. Вы говорили,

есть музыка, для которой обычных нот не хватает? — попробовал я подсказать. Бедняге было явно не по себе, можно понять, выгонять его просто так не хотелось. Но не мне же было заполнять каждый раз молчание. — Как же ее все-таки услышать? Напеть вы, как я понимаю, не можете?

— И никто пока не может. Казалось, уже получается, еще немного, и соединится. Я сегодня вообще хотел принести другой реферат. Джокер — это уже старое, для начала. Нет, Кассандра забастовала, ничего не захотела открывать, выдала только этот.

— Простите, — я насторожился, — кто забастовал?

— Компьютер... извините. Я так его называю: Кассандра. То есть это у меня уже система, шесть процессоров. Могла выдать вдруг такое, мне бы в голову не пришло. Я за эти полгода столько в нее загрузил, самого разного. Не только по информатике, математике, но и по нейрофизиологии, биологии мозга. Сейчас ведь все со всем связано. Уже казалось, вот-вот, близко. Не получилось, нет... Полный тупик, все закрыто, во все стороны... не знаю, как объяснить, чтоб было понятно...

Он смотрел не на меня, а куда-то вбок и в пол, выражение лица было мрачное. Ему еще надо было сочувствовать. Я качнул головой.

— Не берусь судить о вашем предмете, но что это за тупик, закрытый во все стороны? Почему не поискать другое?

— Мне другое не нужно. С этим для меня многое связано... все со всем связано... я не могу объяснить.

— Я имею в виду: пойти другим путем. — Надо было хоть как-то кончать невнятицу. Опять это: не могу объяснить, слишком сложно, вам не понять. — Не только вам известно такое состояние. Сидишь, долбишь в одну точку — мысль не сдвигается. Отвлечешься, думаешь о другом — вдруг решение неизвестно откуда приходит, иной раз даже совсем не о том, сам себе удивляешься. Ай да гений, да? Вы ведь про это?

— Ну да, вообще и про это, — моей иронии он не уловил. — Неуверенность системы, промежуточный хаос, джокер сам не высказывает. Меня одна знакомая подкалывала: смоделируй, говорит, для своей Кассандры гениальность, Нобелевская премия как минимум обеспечена...

А, вот оно как! Стоило ли гадать, кто была эта знакомая? Только что попрощались. Нобелевская как минимум, меньше женщину не устраивает. Только с такими, как этот мальчик, надо бы поосторожнее, может принять всерьез.

— И что, — поинтересовался я, — попробовали?

— Я же говорю, уже хотел принести другую работу, как раз об этом. Не получилось.

— Компьютер забастовал? — я уже не знал, как с ним разговаривать.

— Если бы только он. — Тольц насмешку опять не уловил, усмехнулся угрюмо. — Несовместимость систем... только кажется, что просто в компьютере. Есть уровень, на котором все со всем связано. Неуверенность системы — и неуверенность в мозгах, в отношениях, во всем. — Он говорил с какой-то мрачной рассеянностью, глядя не на меня, как будто думал одновременно о другом. — Мы, например, воображаем, будто можем понять другого человека. А женщина — это не просто другой человек, там другая система. Для нее нужна другая логика, даже не логика, не знаю, что. Думаешь: что за глупость, как можно не видеть, не понимать очевидного? Нет, тут вовсе не глупость, тут другой ум. Глупость считать другой ум понятным...

Он замолчал, продолжая глядеть вниз и в сторону, скулы двигаться перестали. Ах вот оно что, — я сдержал улыбку. Любовные страдания. Неоцененный, отвергнутый умник, хочет себе объяснить, за что его так. В терминах информатики. А его локтем в живот, по-настоящему. Есть от чего сбиться мыслям. Переживает, пережевывает. Остатки воспоминаний. Системы,

видите ли, не хотят совместиться. Ладно, с зачетом явно не стоило больше стараться, надо было рыжего хоть как-то утешить.

— Не берусь судить о вашей науке, — сказал я, — но о чем-то близком я пробовал вам рассказать на занятиях. То, о чем вы говорите, у поэтов называется, может быть, вдохновением — дано ли нам понять, почему, по каким законам оно появляется, почему исчезает? Мы, филологи, пытаемся объяснить, что хотел сказать гений, сам он об этом скорей всего мог не подозревать. Поэзия — не наука, но подлинно художественный текст можно считать частным случаем сложной, как у вас говорят, системы, разве не так? Может, всем нам дано в какие-то минуты быть гениальными. *Почувствовать, понять загадку, еще не разгадав...* — Мне вспомнились подвернувшиеся время назад стихи. — Наверное, можно загрузить в вашу Кассандру такие строки, не простенькую мелодию. Но можно ли запрограммировать что-то большее, не столько мысль, сколько чувство? Скорей даже предчувствие. *Понять, еще не разгадав.* Рыба, вытасненная на воздух, уже не живая. В художественном тексте неизбежно появляется что-то неожиданное для самого автора. Вы можете называть это джокером, как хотите. Подлинная поэзия начинается там, где вспыхивает непредсказуемое. Как непредсказуема бывает любовь...

Я вовремя остановился — почувствовал, что недопустимо увлекся. Тольц смотрел на меня, чуть приоткрыв рот, — слушатель, поощряющий продолжать. Тоже классическая студенческая уловка: терпеливо, внимательно ждать, пока преподаватель сам за тебя все выложит.

— Это идея? — произнес то ли полувопросительно, то ли удивленно. — Ай да гений... а? — Я опять насторожился: не насмешка ли тут в мой адрес? — Извините, — он все же опомнился, — я не то говорю... Я сейчас в таком состоянии... совсем не спал... Спасибо... да. — Он опять словно отключился — был где-то не здесь.

— Подумайте на досуге. — Мне следовало уже расслабиться, опять не уследил за собой. А парень, похоже, и впрямь недоспал, сплошная невнятица. Можно понять. Бедный несчастный влюбленный. На воротнике рубашки угасало свежее кофейное пятно.

Я подвинул к себе его зачетку, раскрыл. Там уже стояло одно «отлично». По какому предмету? Не важно. Неглупый, что говорить. Хотя слишком уж дерганый. Если не хуже. Не стоило мучить беднягу — да и себя самого. Списал, не списал, кто у кого, какая в конце концов разница?

— Между прочим, вы испачкали воротник кофе, — заметил, заново доставая из кармана ручку, убрал раньше времени. — Вообще такие вещи в обществе не принято замечать, но по праву, так сказать, возраста. — Годитесь мне едва ли не во внуки, чуть не уточнил добродушно. — Все культурные ценности условны, в этом вы правы, но жизнь держится на договоренностях, если угодно, форме. Иначе она совсем бы размазалась. Не стоит думать, что другим это совсем безразлично. Особенно женщинам, имейте в виду. Придете домой, смените рубашку.

— Мне уже только что это говорили. — Юноша продолжал смотреть вниз и в сторону. Могло показаться, будто он что-то напряженно осмысливает. На щеках опять проступили пятна.

— Да? — Я уже начал открывать ручку. — И кто же это? Не женщина?

— Охранник у входа. Второй раз делает мне замечание, недоволен моим видом. Считает, что для такого престижного университета нужно ввести дресскод. Наверное, чтобы у всех был такой же костюм, как у него, с таким же галстуком. Это значит показатель подлинной культуры. — Лицо искривилось знакомой уже усмешкой.

Было похоже на легкий, но болезненный укол: вспомнилась подобранная время назад записка. Значит, писал все-таки он. Насмехался над моей внешностью, моим костюмом. И девушка это читала. Хорошо, что ее тут уже

не было. Студент продолжал жевать остатки своих прилипчивых воспоминаний. Нет, что-то неприятное, вызывающее было все же в его манере, словах, в самой ситуации. Я перед ним распелся, чуть ли не рассентиментальничался, а он уже не сомневался, что зачет я ему поставлю. Хотя сам знает, что уличен. Думает, что я уже согласился все проглотить. Право списывать или красть чужой текст, выдавать за свое. И эту откровенную наглость проглочу. Уверен, что со мной можно так. Будет чувствовать себя победителем. Ну-ну.

— Попробуйте написать что-нибудь еще раз на какую-нибудь другую тему, сами, — сказал сухо, отодвигая к нему зачетку, и встретил совершенно растерянный, ошеломленный взгляд.

16

Конечно, я это сделал зря. Рыжий еще шел к двери, я смотрел ему в спину — он на ровном месте споткнулся, весь какой-то поникший, ручку двери потянул на себя — показалось, хочет обернуться, что-то еще сказать... нет, догадался толкнуть. Обернулся бы — я в этот миг, право, мог бы еще передумать, предложил бы ему вернуться. Стоило ли поддаваться пустяковому раздражению? Поставил бы зачет, распрощались бы, чтоб никогда больше не встречаться. Не думать о пересдаче, не тащиться опять в университет, не разбираться в муторном осадке. Забыть, не проясняя.

(А ведь и в самом деле, как теперь подумаешь — на этом могло бы тогда все и кончиться, и не было бы продолжения. Ничего больше я бы не узнал, не понял. Словно тот срыв случился не совсем по моей воле — сработало ли что-то в подсознании, замкнулись ли в неизвестных сферах неясные для меня связи.)

Возвращался домой, рассеянно перебирал все те же мысли. О Пашкине с его самодельной философией, с сомнительным аристократизмом нового русского, с грубоватым мужским обаянием. Вот в чем ему не откажешь, вот кто и женщину может заинтересовать. Уж не ревность ли во мне шевельнулась? Смешно говорить... Но и о ней приходилось волей-неволей думать, об этой способности незаметно обвить, охмурить, предложить неизвестно чьи стихи в виде реферата, как такой не поддаться. (А почему и не поддаться?) И с чего она так пихнула вдруг этого рыжего, больно ведь? Пробивалось уже что-то вроде жалостливого сочувствия к бедняге. Куда мальчику до обоих, ему подрасти бы сначала. Она и дала ему понять, если еще не понял, пусть отойдет в сторонку...

Все, очередной раз обрывал я себя, хватит думать о них. Ничего не надо уточнять, выяснять, незачем. Расстались, считай, уже насовсем, как расстанусь через минуту-другую с этими вот попутчиками в вагоне, не запомнив лиц, даже одежды (женщина бы отметила). Соприкоснулся, потеря боками, скользнул взглядом — выйдут сейчас, больше никогда не увидишь, а увидишь — не узнаешь, не вспомнишь... Кто-то над ухом повторил вопрос, я не сразу среагировал, посторонился, дал пройти. Сам сел на освободившееся место. Обрубок в камуфляжной форме, на инвалидной коляске, заставил подобрать ноги. Голубой берет десантника выставлен в руке для подаяния, опухшее багровое лицо, светлый пух на черепе. Десантник-то, скорей всего, из ряженных, известное дело, попал по пьянке в аварию, послан хозяевами побираться, не для себя. Деньги у него отберут, запрут до следующего утра в жилье, провонявшем мужским потом, вместе с командой таких же, прокорм обеспечат, без выпивки не оставят, совсем без нее нельзя, что-то должно утешать, примирять с существованием, какое есть. У нас в доме напротив, я знал, была такая квартира. Не так им, может, и плохо, привыкли, другого ничего не хотят. Не мне в это вникать, изменить ничего не могу.

В вагоне стало свободней. Подросток напротив перебирал клавиши игрового устройства, губы дергались то и дело гримасой удовлетворения. Разбирался с какими-нибудь устрашающими злодеями, лучше всего с инопланетянами, они понятней. Отстреливал, взрывал на своем пути всех, кто мог угрожать, от меня было не видно. Удобная штука, позволяет не думать ни о чем своем и при этом вырабатывать нужную дозу адреналина. Располневшая мама рядом держала перед собой планшетник, что-то читала, еще две женщины поодаль листали цветные журналы. Во времена, когда я еще мог разобрать издалека мелкий книжный шрифт, тянуло иногда скосить взгляд, угадывать по знакомым именам, строкам, кого кто читает: кто-то, глядишь, Шекспира, кто-то, бывало, Ремарка — и улыбнуться узнаванию, чувству невольной близости, родственного понимания. Нечасто, но все же случалось. Слева от меня лысоватый мужчина в негородской, дачной одежде, у ног потрепанный рюкзачок, достал из нагрудного кармана газетную вырезку, развернул. Заголовок я мог разобрать: «Звездный развод обошелся в два миллиона». Дальше без очков было не прочесть. Дачник перечитал медленно, качнул головой, аккуратно сложил вырезку, вернул в карман. И не станешь же выяснять, о чем это, о ком, почему так важна для человека новость о разводе вряд ли знакомой лично звезды. Вырезал, перечитывает. Со стороны не понять. Имен ты все равно не знаешь. А в общем, то же, что было всегда. Множество непроницаемых, случайно сошедшихся жизнью, замкнутые, отделенные один от другого, непересекающиеся миры, временные попутчики в общей вагонной капсуле, в черном туннеле. У молодых в ушах музыкальные затычки, слышит каждый свое.

Ритмичный, баюкающий перестук, мягкое сиденье покачивается, покачиваются сидящие. Этот рыжий что-то говорил об измерении, в котором все со всем связано. Для меня таким измерением всегда была литература. Я ведь по-настоящему просто не представлял, как без нее можно воспринимать, чувствовать жизнь. Как было передать, хотя бы объяснить это чувство нынешним студентам? Не получилось. Если б следовало признать только это! Может, главное, думал я, сам что-то все больше перестаю понимать. В самой литературе что-то от меня ускользает. Не читаю, как раньше. И не в том дело, что какой-то новый бестселлер не смог оценить, не вник — было бы во что вникать. Толкования подменяют необъяснимое, вот о чем я только что пытался сказать студенту — напоминал, оказывается, самому себе. Рыба, вытщенная на воздух, уже не живая. Ускользает, тускнеет что-то настоящее. Мусолю затверженное, привычное — так собака продолжает глотать кость, на которой мяса-то не осталось, обновляет разве что вкус собственных слюней. Вкус воспоминаний, вкус иллюзий, вкус имитаций. Теперь собаке можно подsunуть и кость искусственную, просто чтоб зубам не было скучно. Даже буквы на них, оказывается, стали писать... никогда раньше таких костей не видал. Разглядеть бы поближе... что-то как будто знакомое... и собаку я где-то уже видел. Та, словно угадав мои намерения, взяла кость в зубы, потрусилась от меня прочь. Непросто было поспевать за ней, проталкиваясь в тесной толпе. Собака лавировала между человеческих ног, ей было легко. Надо было не упускать ее из виду, не оглядываться. Кто-то попытался меня остановить: куда без очереди? — придержал за плечо, я вырвался. Но собака уже нырнула в черный проем. Я остановился в сомнении. Чтобы туда заглянуть, надо было стать на колени. Кого бы спросить, что там? Чья-то рука снова схватила меня за плечо, стала трясти. Надо выходить, сказал женский голос, здесь конечная. Слышите? Эй, папаша! Здесь конечная...

Заснул, пропустил, оказывается, свою станцию, давненько со мной такого не было. И никто, кажется, еще не называл меня папашей. Я, значит, папаша, пора признать. Все еще как будто не мог выбраться из полусна, полуяви, обрывки путаных мыслей не продолжали одна другую. Но сбиться

с пути я дальше уже не мог, продолжал движение, что называется, на автопилоте. Поднимался к выходу на эскалаторе, когда меня вывели из задумчивости мужские хамские голоса.

Навстречу нам, слева, спускались двое в камуфляже, с бритыми головами, лица округлены белым подкожным салом. Они что-то громко выкрикивали, гогоча, и почему-то показывали друг другу на меня пальцами. Я не успел понять, в чем дело, когда один вдруг набрал во рту слюны и смачно в меня харкнул. Уклониться я все же успел, плевок вообще прошел мимо. Обернулся: позади меня, ступенькой ниже, отирал платком щеку скуластый узкоглазый мужчина лет тридцати. Бритоголовые, оборачиваясь, показывали на него пальцами, продолжали гоготать, довольные. Надо понимать, не промахнулись, попали, в кого метили, не в меня. Азиаты теперь им не нравятся. Чужеродные. Моя внешность была не так примечательна, к тому же пожилой, седоватый. И ведь никто на их эскалаторе не среагировал, не сказал ни слова, ни ступенькой ниже, ни выше. А я бы сказал, если бы оказался там, рядом с ними, полез бы с кулаками, дал в морду? О чем говорить!

17

Жилье дохнуло непроветренной духотой. (Обещали грозу, я оставил окна закрытыми.) Впустил майский воздух, дыхание молодой теплой зелени, пошел на кухню разогревать свой холостяцкий обед: сосиски, вчерашние макароны; картошку чистить не захотелось, оставил на завтра. А вот селедку к водочке взял, нельзя было не выпить. После отъезда Наташи я зарекся пить без нее, выпивать в одиночку — последнее дело. Да ведь и обед без нее был не более чем способом отделаться от напоминаний желудка, без вкуса, без смакования. Все без нее потускнело, угасало. Сковородка в угольно-жирном налете, посуда как будто немытая, хотя ведь мыл, помню.

Одной рюмки и даже другой оказалось недостаточно, не удавалось ни заглушить, ни прояснить муторную тяжесть на душе, отогнать ненужные мысли. Который раз приходилось ловить себя на малодостойном чувстве: держаться бы в стороне от этой жизни, от хамских ее проявлений. Омерзительно соприкоснуться с ней вот так, близко. Хорошо, если не ближе, если вонючая слюна не растеклась по твоей щеке, пришлось бы отереться, отереться, не больше, ну, дома промыть кожу горячей водой, с мылом, носовой платок выбросить, не стирая, — что можно сделать еще? Чувство брезгливого бессилия, уважения к себе это не прибавляет. А еще облегчения, когда оглянулся и увидел, что они целились не в меня...

Вы умеете вовремя остановиться, снова вспомнился забытый, казалось, профессор. Сомнительную похвалу я тогда как будто пропустил мимо ушей. Нет, оказывается, застряла. И как потом за банкетным столом профессор заговорил с моим отцом по-еврейски, а я стал оглядываться: слушают ли их другие, что об этом думают? Конечно же, на кафедре не могли не знать, что я еврей, но, может, не думали, что настолько. Специалист по русской литературе, и фамилия русская. С коллегами у меня в этом смысле не было никаких проблем. Да и за столом к тому времени все были хороши. Комплексы, не более чем застрявшие с давних лет комплексы...

— Знал бы ты, как твой папа тобой гордится. — Ласкин, хмелея все больше, стал говорить мне «ты». Приближал то и дело свое лицо к моему, приходилось вежливо отстраняться от брызг слюны. — Кандидат наук, кто мог об этом мечтать? Он мне рассказывал, какие у тебя еще в школе были необыкновенные сочинения. А он простой, всего образования — техникум, какой-то кожевенный. Думает, ты его стесняешься. Стесняешься, да? Ты ведь ничего про него не знаешь и не хочешь знать...

Я лыбился расслабленно, не вникая. Ласкин время от времени поправлял выпадавший протез, вместе с ним возвращалась направленность речи. Понес что-то опять про Чехова. Вот кто обходился без генеалогии. Папашу своего почитал как положено, содержал, но не более. Выдавливал из себя по капле. У него, ты посмотри, проверь, даже дворяне, аристократы предков не очень, кажется, поминают, не обсуждают. Это Пушкину они были важны, он жил в истории. Безродным разночинцам хватает ближнего времени. Космополитам без роду и племени, как стали выражаться когда-то. Нельзя не признать. Попробовал бы не признать...

Поправил опять нижний протез, для этого пришлось его вынуть совсем — никак не становился на место. Нос в лиловых прожилках, седые волосы из ноздрей с корочками засохшей слизи.

— Тебе повезло, скажи спасибо папе, что родил тебя не раньше. Ты смог не застать нашего времени, нашего страха. Знаешь, что это такое?.. И не надо. Дети родителей не расспрашивают и правильно делают. Лучше остаться голубоглазым, как ты. Молодец...

Страхнул с моего лацкана хлебную крошку. Я благодарил, пьяная невяница растворялась в банкетном шуме. Мне было хорошо. Оба мы были хороши. Завершалось застолье, все понемногу покидали зал, кто-то подходил на прощанье облобызаться, что-то говорил. Мы стояли посреди громадного, толстостенного, не по человеческой мерке, пространства, воробьи летали под сводами, садились на колосья снопов в руках дородных тружениц, между ними сновали в воздухе черные официанты, изгибались, лавировали, ухитрялись поддерживать равновесие. На длинных столах, на скатертях, в тарелках, среди пятен пролитого вина, среди окурков и кучек пепла догнивали остатки пиршества. Поодаль отец завершал финансовые выяснения с метрдотелем, извлекал из пухлого бумажника деньги, слюнявил палец.

— Вот человек, — показал на него Ласкин. — Через него ты мог бы ощутить связь с этим миром, с этим временем. Не мозгами, а всем, что в тебе есть, понимаешь? Кишками, яйцами, всем. Он умел бояться, успел узнать, что это такое. Но тебе лучше не надо. Не слушай меня...

Подошел отец, они долго, пьяно прощались. Ласкин потом еще писал мне из Ленинграда, обсуждал тему докторской. Ненадолго наведалься в Москву, встретился с ним удалось только перед его отъездом, за столиком вокзального ресторана. Стал говорить о диссертации, опять как-то странно, мысль от меня ускользала. Чехов и Серебряный век, чем не тема? Гуманизм, позитивизм, религиозная философия. Вот уж что у Чехова искать бесполезно. У него попы озабочены больше обрядами, чем религией. Но уж обряды описаны со знанием дела. Ничего иррационального, это Шестов, кажется, заметил? Чужой для их компании...

Кажется, уже в тот раз, за столиком, он упомянул неизвестного мне Богданова: вот кто был бы тебе действительно близок. Не уверен, память может присочинить. Продолжения тогда не последовало, Ласкин вскоре исчез. Потом я окольно узнал, что он уехал вслед за своей пожилой дочерью в Израиль, ничего о нем долго не знал, не вспоминал. Вряд ли еще жив. Один из людей, ушедших куда-то, исчезнувших из моей жизни вместе с вычеркнутыми адресами, телефонными номерами, фамилиями в записной книжке, да и с самими растрепанными, рассыпающимися книжками ушедшего времени. Времени, когда еще не было Интернета и автора, не попавшего в электронную сеть, надо было, как прежде, искать по картотечным коробкам. Но в библиотеки я уже перестал ходить. И потом, когда начал осваивать Интернет, не сразу пришло на ум поискать там фамилию Ласкин. Нашелся знаменитый юморист, поэт-песенник, какой-то генерал-лейтенант, участник обороны Крыма, врач, создатель антираковой диеты. Профессор, специалист по Чехову не попадался.

Пока мне случайно не подвернулся сборник стенограмм — документ послевоенных идеологических шабашей. Ленинградский университет, апрель 1949-го, ученый совет филологического факультета, открытое заседание. В именном указателе обнаружилась фамилия Ласкин. (В скобках: Лифшиц — как же, начиналась тогдашняя охота — разоблачать псевдонимы.) Ласкин-Лифшиц, безродный космополит, пытается навязать нам отрывку формализма вместе с теорией единого потока. Сопоставлять идеи нашего гиганта Чехова с провинциальной философией литературного карлика Богданова значит игнорировать ленинское положение о двух культурах, которые имеются в каждой национальной литературе и находятся в непримиримой и ожесточенной борьбе. Да, товарищи, я должен признать, что элемент формализма и провинциальной философии в некоторых моих работах является идеализмом, а это есть проникновение в идеологию советского ученого, каким я себя считаю, несоветского элемента мысли. Для меня, товарищи, не является секретом, что несоветский — значит вредный, а вредный — значит враждебный. Я отдаю себе отчет, что формализм — обратная сторона космополитизма... Полуграмотное словоблудие палачей, демонстративный идиотизм жертв, и этого все еще мало, еще продолжается на многих страницах. Кто такой этот Богданов, что за провинциальная философия? Страх, смертный страх, ужас, только унижение давало шанс уцелеть и потом доживать, так и не избавившись от стыда.

18

В чем профессор был не совсем прав, прелести упомянутых им времен не совсем меня обошли, успел кое-что застать. Вспомнить хотя бы, как мерзко меня провалили на собеседовании в университет. Золотой медалист, вправе был поступать без экзаменов. На все вопросы отвечал прилично, но для таких, как я, предусмотрены были откровенно убойные. Расскажите, что говорилось о задачах советской литературы в постановлении ЦК не важно какого года? Безликие лица, скука откровенного издевательства. Попробовал бы пересказать (в тогдашней неразборчивой памяти задерживался и не такой мусор), потребовали бы процитировать наизусть. Известное дело. От разных людей потом приходилось слышать: о своем еврействе не вспомнили бы, если бы не заставили вспомнить. Утешился, ничего. Поступил тут же в пединститут, вернулся туда же преподавателем, там встретил Наташу. А не провалили бы в университет, мы бы с ней и не встретились. Притча на известную тему: нам не дано знать, как беда обернется благом. Другие времена, и беды-то особой не было, толковать можно по-всякому... Почему вдруг стал вспоминать?..

Провинциальные родственники приезжали в Москву за продуктами, из Винницы, из Кисловодска, останавливались у нас, где же еще. Папины старшие сестры, их разросшиеся семейства. Накупали целыми сумками колбасу, апельсины, белый хлеб, у них же там ничего не было. Рая, уже не помню точно степень ее родства, толстенная, кругленькая, со смешной бараньей завивкой, принесла из магазина полную сумку батончиков, отломала себе кусок, потом другой, стала не просто есть — поглощать, уплетать за обе щеки, сначала жадно, потом смакуя, наслаждаясь собственной слюной. Весь батон сразу съела, не удержалась. Сказочный деликатес. Перед праздниками, особенно перед Новым годом, их наезжало одновременно столько, что в доме не хватало раскладушек, постелей, устраивались рядком на полу. Как-то утром я, мальчишка, вышел из своей комнаты, полуголые женщины примеривали одна на другой купленные накануне бюстгальтеры, взвизгнув, нырнули под общее одеяло. Мы еще жили в деревянном доме без удобств, готовили

на керосинке, зимой топили печку, я за керосином ходил в дальнюю лавку, мама крутилась у плиты, хлопотала, готовила. (О, это движение, когда она отирала предплечьем пот с раскрасневшегося лица!) И ведь не было ущемленности, жили как все, другой жизни просто не знали. Держалось, оказывается, в памяти, так ясно...

А вечером эти застолья с еврейскими песнями, пьяные неслаженные голоса. Папу однажды уговорили исполнить его коронный, со времен их общей семейной жизни, номер. Монолог из неизвестного мне спектакля, возвышенный пафос: «Вот жизнь моя, возьми, и мы в расчете». Репертуар провинциального довоенного театра, трагикомический надрыв, мечтания об актерстве. Была, помнится, фотография тех лет, на ней юноша в белых женовских брюках, белой рубашке... не сохранилась, ни одной довоенной не сохранилось, вот ведь беда, взглянуть бы на нее сейчас! Я аплодировал вместе со всеми, но меня папа, наверное, в самом деле немного смущался. Я для него был особенный, не как все. Перед родственниками они с мамой, конечно, гордились таким образованным сыном. Кончил не только институт, но даже аспирантуру. В том, что я должен был получить высшее образование, сомнения у них не было, для этого оба трудились. Папа на обувной фабрике, специалист по козам, мама простая кассирша. (А впрочем, не совсем простая, одно время была театральной, я был обеспечен билетами, другим недоступными. Хотя особенным театралом не стал. Зато за эти билеты можно было получить книги, тоже по тем временам дефицитные.) Больше всего оба хотели, чтобы ребенок стал врачом. Все-таки более понятная профессия, и главное, потом самим будет у кого лечиться. (О, это местечковое киндэлэ, не было слова ласковой!) Пришлось смириться с литературным выбором. Не удалось сделать из ребенка и скрипача — легендарная еврейская мечта. Даже купили мне маленькую скрипку, четвертушку... надо же, было. Я не успел извлечь из нее ни звука, сразу испортил смычок. Стал крутить какую-то ручку, развинчивать, пучок белых волос расслабился, высвободился, заправить его не удалось. Папа сумел вернуть его потом в магазин вместе со скрипкой...

Я сидел за кухонным столом, рассеянно шевелил вилкой остывшие макароны. С чего в самом деле опять стал вспоминать?.. Про всех этих родственников я давно ничего не знал и не интересовался. Связь с ними совсем потерялась, ни телефонов, ни адресов. Старшие, которых успел застать, должно быть, поумирали, те, кто с тех пор народились, скорей всего, переместились в Израиль из своих Кисловодска и Винницы. Уже после папиной смерти неожиданно обнаружилось, что у меня были совсем неизвестные мне родственники. На похоронах ко мне подошла пожилая незнакомая женщина: вы сын Ефима Семеновича? Никогда вас не видела. Я хочу вам сказать, что он когда-то спас мою маму от голода и меня вместе с ней. В 49-м он устроил ее к себе на фабрику. Ее тогда бы никто никуда не взял. Моего папу тогда посадили, дядю расстреляли, имена были известные. Он сам рисковал, это было тогда опасно, такие родственники... Я слушал, мысли были заняты похоронными заботами, не смог достаточно быстро сосредоточиться. Сумел только проговорить рассеянно: надо же, я этого не знал. Я и сама не знала, сказала женщина. Совсем недавно прочла у мамы в воспоминаниях. Она хотела Ефиму Семеновичу написать, не было адреса, так и не успела. А я вот приехала, вдруг случайно услышала, что ваш папа умер. И надо же, застала...

Когда мы возвращались с кладбища, женщина оказалась со мной в автобусе, попросила Наташу уступить ей место рядом со мной. Та глянула на нее оценивающе: немолодая, носатая, некрасивая — пересела. В автобусе с задыхающимся натужно мотором я услышал историю, из которой следовало, что эта женщина была моей не такой уж дальней родственницей. У дедушки, которого я совсем не знал, папиного отца, был старший брат, купец первой гильдии, он жил, надо понимать, в столице, с местечковыми бедными

родственниками не знался. Дети его стали революционерами-большевиками. Двоих, как водится, в тридцать седьмом расстреляли, третий уже после войны получил пятнадцать лет. Эта женщина была его дочерью. Ее мать сумела ареста избежать, в Москве долго не задержалась, стало опасно, дочь пристроила на время у чужих людей, под чужой фамилией. О том, что муж до освобождения не дожил, мама узнала уже в конце пятидесятых. Тогда же вернула себе дочь, получила вместе с реабилитацией квартиру в подмосковной Пахре. У нас дома вместе с провинциальными родственниками почему-то никогда не появлялась, я ее, во всяком случае, не знал...

Дальнейшего она рассказать не успела, автобус довез нас до дома, пришлось попроситься. На поминки женщина не осталась, у нее были билеты на самолет. Куда? В Хайфу. А вы не собираетесь уезжать?.. Я почему-то не спросил у нее ни адреса, ни телефона. Слишком был закручен хлопотами. Появилась и исчезла...

Одна из закрытых от меня историй, и ведь, может быть, не единственная. Рискованных тем при мне у нас дома не обсуждали. Про неизвестных родственников папа не рассказывал мне, даже когда это стало безопасно. Считал, похоже, что некоторых вещей ребенку вообще лучше не знать. Запретил, помнится, мне, семилетнему, рисовать на листках профиль Сталина, у меня получалось очень похоже. Еще было откуда срисовывать. Без объяснений, просто запретил. Никогда этого не делай. До понимания доходило потом без него, запоздало...

Вспомнилось, как меня привлекал и пугал страшный шрам на его бедре, когда я ребенком ходил с папой в баню. Выпирающее багровое мясо в мертвых прожилках. Военная рана. Про войну он рассказывать не любил, я не очень спрашивал. А потом и в баню вместе не нужно стало ходить, появилась квартира с горячей водой, еще время спустя мы разъехались, отдались все больше. До некоторых вопросов детям надо сначала самим дорасти. А с какого-то возраста они родителей перестают спрашивать. Те, может, и хотели бы что-то рассказать сами, да стесняются, и нет случая. А там уже и не могут...

Недоразумение ли с зачетом так странно разбередило вдруг память, мерзкое ли происшествие на эскалаторе? Сколько таких было. Плевок в тебя не попал и не тебе был предназначен... незачем перебирать. Эти хамские рожи были скорей уже поводом — нарушилось душевное равновесие. Возвращались, оживали воспоминания. Папу увозили в больницу с последним инсультом, я подхватил носилки вместе с единственным санитаром, врач помогать отказался. На одном из лестничных поворотов носилки неловко наклонились, папа чуть с них не вывалился, я едва успел выровнять. Потом представлял, как он бы упал на лестницу, виноват был бы я. Нес, смотрел сверху на его запрокинутое лицо. Оно было совсем белое, взгляд с носилок мучительно искал меня — все время казалось, что губы пробуют шевельнуться. Хотел мне что-то сказать напоследок — не сумел. Не получилось. Долго меня не отпускало это видение...

Телефонный звонок раздался, когда я уже наливал себе последнюю рюмку, больше в бутылке не оставалось. Успел опрокинуть ее наскоро, по пути к телефону, с мыслью: вдруг это Наташа?

Звонил Монин, Евгений Львович. Вот уж чего я не ожидал, никогда еще ректор не звонил мне домой. Но еще неожиданней было услышать, что ему, оказывается, звонил мой студент, Роман Тольц. Монин назвал его по имени: Рома.

— Что у вас с ним произошло? Мальчик не знает, как извиниться перед вами. Говорит, его нечаянно занесло, стал нести вам какую-то глупость, сам чего-то не понимает...

Однако, оценил я сквозь начинавшийся в голове шумок, само начало разговора казалось хмельным. Студент звонит домой ректору, просит за него объясниться перед преподавателем за проваленный зачет. Мальчик... это какие же у них могли быть отношения? Спрашивать, конечно, не стал, не настолько был пьян.

— А что он свой реферат скачал не знаю откуда — про это он вам сказал?

— Да, да, — в голосе ректора слышалось смущение. — Рома клянется, что это его собственная работа, тут какое-то недоразумение. Я ему не могу не верить. Он просто был сбит с толку, не понимал, почему получился такой разговор. Знаете, молодые люди иногда начинают кривляться от неловкости, против желания, мы их не всегда понимаем.

— Ах от неловкости. — Хмель позволял мне быть раскованным даже в разговоре с ректором. И почему это, интересно, он не может не верить мальчику? — Но он вам сказал, что точно такая же работа оказалась еще у одного студента?

На другом конце провода задержалось молчание.

— Нет, — после паузы проговорил Монин. — Этого он не говорил. Точно такая же? И у кого? Кто этот второй?

— Не второй, а первый. Пашкин. Станислав Пашкин, вы его тоже, возможно, знаете.

— Пашкин? — В трубке слышалось озадаченное сопение. — Как же не знать? Пашкин. Нет, Рома мне не сказал. Тут что-то не то. Это мне совсем не нравится.

— Ваш Рома, между прочим, даже не поинтересовался, кто принес мне этот второй реферат. Как будто сам знал. Или догадался. Если не из Интернета — значит, кто-то у кого-то списал? Вопрос, кто у кого?

— Да, да... Не понимаю. Не понимаю. Рома бы этого не мог... Он немного не от мира сего, но честолубия не лишен. Его преподаватель говорил мне, что Рома решает задачи для третьего курса, вообще залезает в области, о которых с нами еще не говорят. Выдал неожиданную курсовую, что-то о системах, построенных на нечеткой логике. Я тут, правда, не специалист...

— Ну, для меня это тем более китайская грамота. Вы почему-то называете его по имени? — не удержался я от вопроса.

— Вас это удивляет... я понимаю. — Смутил все-таки ректора. — Действительно, я этого мальчика знаю с детства. Мы когда-то были близки с его семьей. С отцом, Павлом, работали в тогдашнем НИИ, его жена была моей аспиранткой. Тогда они еще не были женаты, совсем молодые. Я с ними даже как-то сходил на байдарках, сам был еще ничего. Потом появился Рома. Отец ушел в бизнес, одно время довольно успешный... сейчас оба за границей, в Лондоне, и отец и мать. Не совсем, как бы это сказать, по доброй воле, у них в Москве начались проблемы... юридические, деловые. Причем как раз с Пашкиным, с отцом нашего студента. Тут кое-что надо, наверное, объяснить. У них одно время был общий бизнес. Известная история, она обсуждалась даже по телевидению, не так давно, вы не видели?

— Я не смотрю телевизор.

— Да, конечно... я понимаю. Эти дети, студенты, не совсем случайно оказались в одной компании. Но это не телефонный разговор, это я, может, вам расскажу при встрече. Рома четвертый месяц живет один. Родители вынуждены были в Лондоне задержаться. Хотели взять его с собой, там можно бы и учиться, с языком у мальчика нет проблем. Но он предпочел остаться в Москве, поступил в наш университет. Знаете, в этом возрасте хочется пожить самостоятельно. А тут еще разные личные отношения.

— Романтические, — вставил я.

— О, вы и это знаете. Да, да, и это, я немного в курсе. Вот почему мне так не нравится тут что-то... Знаете, он так трогательно про вас говорил.

— Кто, Рома?

— Да. Я почувствовал, что ему очень хотелось бы с вами объясниться, досказать что-то. Ему показалось, что с вами можно поговорить, как не удавалось с родителями. Такой возраст. Он очень переживает.

Ректор, что называется, нашел, чем меня окончательно купить. Пусть кое-что присочинил от себя — сумел польстить самолюбию.

— Ладно, — сказал я, уже размягченный, — не будем создавать проблему. Я в ведомости писать ничего не стал, чтобы потом не исправлять. По старой привычке. Пусть принесет мне зачетку, поставлю ему свой автограф.

— Нет, нет, зачем же так, — смутился Евгений Львович. — Он готов приехать к вам с новым рефератом хоть завтра.

— Завтра, с новым? — Казалось, я уже успел протрезветь, не хотелось бы. — Зачем так спешно?

— Неожиданные семейные обстоятельства, ему вдруг срочно понадобилось уехать. Я потому и позволил себе звонить вам. От родителей пришло послание, буквально сегодня, потребовали к себе. Не знаю, что у них там случилось. Какие-то экзамены можно перенести, не проблема, но этот зачет он хотел бы передать вам сразу. Почему-то для него это важно... вы извините.

— Значит, опять ехать в университет? — Я позволил себе недовольную интонацию. — У меня сейчас нет машины, жена уехала на ней.

— Он сказал, что готов приехать к вам, куда скажете. Если вам удобно, домой.

— Домой?

— Если вы не против. Как в добрые старые времена.

Что-то во всем этом было для меня странно. Но отговариваться было нечем. Оставалось только согласиться — не стоило растягивать зависшую неясность. Продиктовал Евгению Львовичу подробный адрес, назначил на одиннадцать часов, просил не опаздывать — хоть на этот раз...

Я положил трубку — и лишь тут сообразил, что не задал ему самого естественного вопроса: закончится ли моя работа в университете вместе с этим нелепым перезачетом, продолжатся ли наши отношения дальше. А ведь с каких романтических грез начиналось! За весь семестр мы встречались с ректором раза два-три в главном здании, на ходу, перемолвились парой слов. Он говорил, что хочет посетить мои занятия. Времени, должно быть, не нашлось.

Знакомое чувство, что говорили опять не о том. Мы оба тогда не представляли, насколько действительно не о том, — кое-что еще предстояло понять.

Слова Монины о каком-то деловом конфликте между родителями студентов меня тогда не очень заинтересовали. Чужие мне люди, и дело по нынешним временам обычное. Телевизор я действительно почти не смотрел, но в интернете новости просматривал, как же их обойти. Бизнес в этих новостях привычно рифмовался с криминалом. Коррупция, передел собственности, судебные процессы, разборки, распилы, откаты — приходилось осваивать словарь времени. Подробности можно было читать, как детектив, удручающе, впрочем, однообразный. Как и попутные разговоры об экономическом, технологическом, научном отставании страны от мира — при благодатных ценах на нефть. Об унижительном чувстве беспомощности, о покорности, вялости, безразличии каждого и всех вместе...

Я проговаривал эти общие места сам с собой, с кем же еще? Не со студентами же было обсуждать, не мой предмет. Однажды, впрочем, подвернулся повод коснуться близкой темы. В феврале это было или в марте, я, выходя из метро, увидел, как неподалеку от памятника Пушкину собирались группы приезжих школьников, лет четырнадцати-семнадцати. В белых и красных накидках с портретом Путина на спине, поверх него лозунг «Своего не отдадим!». Над головами плакатики с названиями городов: Воронеж, Курск, Тамбов. Усталые, скучающие лица, покрасневшие от холода носы. Сvezли на какую-то политическую акцию. «Сейчас организованной колонной перейдем на другую сторону», — провозглашал через мегафон старший. Недешево, надо полагать, стоила эта экипировка, переезд из разных городов на автобусах, питание, размещение. Натаскивают, подумал я, новых конформистов, как прежде нас, комсомольцев. Теперь они назывались «Наши»...

И вдруг вспомнил: «нашими» в романе Достоевского названы были те самые бесы, будущие террористы, почитатели Петра Верховенского, из которых тот набирал свою тайную организацию. «Бесы», глава седьмая, «У наших». Тем, кто придумывал для прокремлевской тусовки такое название, не пришло в голову, какие оно может вызвать ассоциации (при парадоксальной перемене знаков.) Достоевского они явно не читали.

На одном из занятий я решил поговорить об исторической памяти, которая бывает закреплена в словах, о том, как смысл слов может меняться со временем, как многого по-настоящему не понять, не почувствовать в языке, в жизни, в культуре, если не знать собственной истории. Но едва я начал рассказывать о своем уличном впечатлении, как один из студентов оживился: нас на такие митинги тоже возили. Тоже был раньше «нашистом». Аккуратно стриженный, в очках без оправы, с узким галстуком. Смирнов. Почему-то даже фамилия вызывала мысль о комсомольском работнике. Нет, он потом из движения ушел, политика его не интересовала, но тогда было прикольно. Патрулировали на улицах, разгоняли какие-то сходки. «Бесов», разумеется, ни он, никто другой не читал, только про них слышали. Пришлось на ходу скорректировать поворот разговора, на понимание рассчитывать не стоило, и не ввязываться же было в дискуссию. Слишком много пришлось бы объяснять. Другой опыт, другое восприятие, эти молодые люди вписались в предложенную жизнь, где лозунги касаются тебя не ближе, чем временные накидки, обходятся без проблем.

И мне ли было им говорить об исторической памяти? — засомневался я вдруг, задумчиво продолжая сидеть после звонка Монины возле телефона. Как-то совпало: события дня, ожившие воспоминания, непривычные, неуютные мысли о том, что даже близкой семейной историей я, в сущности, не интересовался. Не говоря о каком-то дедушкином брате, купце первой гильдии, его расстрелянных детях, большевиках-революционерах. Заведомо мне чужих. А ведь по роду занятий я просто не мог обходиться без этого самого исторического контекста, литературных соответствий, генеалогий, культурных, мифологических переключек — и неплохо в них ориентировался, умел теоретизировать. Мог в своем интересе не сомневаться... Правда вот, Чехов, вспомнил я снова, действительно задушевная, можно сказать, моя тема, без историй и генеалогий действительно обходился, Ласкин не зря это заметил. Может, сам выбор оказался не совсем случайным. Профессор, правда, не упускал случая намекнуть, что чего-то я в Чехове не сумел уловить, одолеть, мимоходом поминал какого-то Богданова: вот кто был бы тебе ближе...

Я ведь потом, пусть и не сразу, этим Богдановым успел поинтересоваться, разыскал две большие статьи о нем Ласкина — и только тогда понял, что окольно про него уже слышал. Этот самый Богданов был выведен под псевдонимом в нашумевшем лет двадцать назад романе, я его тогда пропустил.

Потом уже подумал, не использовал ли автор без ссылки давнее открытие не слишком известного профессора. Статьи Ласкина остались не просто забытыми — изъятыми из обихода, для беллетристов ссылки не обязательны. Стоило бы хоть запоздало восстановить справедливость.

Этот Богданов, при жизни почти незамеченный сочинитель, был не просто провинциальным бытописателем, он создал своеобразную и, по уверению Ласкина, незаурядную философию — философию провинциального счастья. Провинция для него означала не географическое понятие, а категорию духовную, способ существования и отношения к жизни, основанной на равновесии, гармонии и повседневных простых заботах. Профессор полагал, что для этого несчастного в жизни человека важно было постоянно переосмысливать, преобразовать, делать хоть как-то терпимым, приемлемым ужас окружавшей его реальности. А после революции, добавлял он, эти идеи стали для Богданова перекликаться поначалу с не вполне еще угасшей утопией, а затем и с практикой утверждавшегося социализма. (Не это ли неосторожное замечание потом так дорого Ласкину обошлось? — подумал я, помнится, читая.) Чтобы все были счастливы, объяснял в своих сочинениях философ, надо не допускать крайних бедствий, голода, нищеты, но давать людям возможность жить в скромном равенстве, без зависти, без соперничества и не в последнюю очередь с убеждением, что им лучше всех — другим хуже. Отгороженность в пространстве и во времени позволит обходиться без сравнений, без достоверных знаний об остальном мире, как и о собственном прошлом. Доступное каждому счастье — способность осознавать обособленное величие и бесконечность каждого мгновения. Бог в каждой капле и травинке... что-то в таком духе, до самого Богданова я так до сих пор и не добрался, его непереиздававшиеся раритеты надо было где-то искать.

По статьям Ласкина можно было не только понять, но и почувствовать, что все эти идеи провинциальный любомудр подавал в своих текстах с иронией — и воспринимать их следовало не без иронии, она сказывалась и на интонации, стиле самого профессора. Я эти статьи, помнится, именно так и читал — с усмешкой, немного снисходительной. Моим был мир высокой литературы, великих мыслей, движущейся, непостижимой истории... И вот тут, продолжая сидеть у телефона, вдруг подумал: не над собой ли посмеивался? Недаром же стало с некоторых пор навещать чувство, что время ушло, а я остался на месте. Не потому ли, что на самом деле большего не особенно и хотелось? Хватало того, что есть?

Возвращалось то же непонятное, беспричинное беспокойство, разрасталось, требовало опять в чем-то разбираться. Всплывало, ворочалось до сих пор, оказывается, еще не осознанное, недодуманное, неуютное... ни к чему бы...

21

Я уже казался себе совершенно трезвым, когда подошел к окну и лишь тут осознал, что рюмка так и оставалась в руке, забыл поставить. Только отсосать с доньшка капли, больше в бутылке не было...

Наверное, это был уже тревожный сигнал, что-то вроде странного приступа, тогда я не понял, принял его за ожившее опьянение. Прежде такого со мной не было. Состояние, когда последней капли достаточно, чтобы уже растворившийся хмель начал проявляться, густеть, растекаться, в голове ли, в пространстве, как прозрачно густели за окном майские сумерки. Я впускал в себя эти сумерки, стоя перед распахнутым окном, свет позади себя не зажигал, слушал, как угасает уличный шум, затихают голоса на детской площадке. Вместо них в воздухе или в мозгу возникало словно гудение майских жуков, воспоминание о временах, когда в эту пору можно было фуражкой

сбивать неувертливое, тяжелое тельце, потом подбирать в траве одного, другого, слушать, приложив к уху спичечный коробок, озадаченное корябанье пленников. Теперь майских жуков не стало, детей уводили по домам родители, одним на улице даже днем лучше не оставаться...

Парень в старомодной спортивной куртке, прилонясь плечом к стойке качелей, выискивал взглядом окно в высоком доме напротив. Я вместе с ним угадывал это окно. На полупрозрачной занавеске проявились две нечеткие увеличенные тени, порознь, одна выше другой, они понемногу сближались, сближались и вот соединились в одну... что означало защемившее вдруг чувство, похожее на укол ревности? Был ли я кем-то из этих троих — кем, когда?.. Темнел, угасал воздух, сумерки скрадывали, делали пространство все менее различимым, в нем одно за другим возникали, высвечивались окна — без занавесок ли, закрытые ли шторами, они для меня оказывались одинаково прозрачными, подробности не были уменьшены расстоянием, даже как будто укрупнены.

Люди возвращались с работы в свои отдельные, разгороженные коробки. Засветилась комната, женщина отвела руку от выключателя, поставила на пол сумку. Мужчина вслед за ней внес перед собой объемистую, но, видно, не очень тяжелую коробку, поставил рядом с сумкой. Еще в пиджаке, он стал расслаблять галстук, подняв подбородок, поматывал головой, как лошадь, освобождаясь от хомута. Женщина, ненадолго продемонстрировав белье, прикрылась дверцей шкафа. В соседней комнате светилась скудная настольная лампа, перед ней мальчик, сидя стриженным затылком к окну, ковырял в ухе авторучкой, на столе недоделанные уроки...

Зажигаются, гаснут окна, вечер раскладывает пасьянс... Чьи это вспомнились стихи? Дама в шелковом цветастом халате помахивала растопыренными в воздухе пальцами, создавая ветерок для ногтей, чтобы поскорей продох лак. Карты на скатерти, под абажуром, были разбросаны в беспорядке — не сошлось с первого раза. Дама вышла из комнаты, свет зажегся в соседнем окне, кухонном. Достала из белого шкафчика поднос, поставила на него бутылку, две рюмки. Подумав, сменила бутылку, рюмки заменила бокалами покрупней. Ждала, надо понимать, гостя, не очень пока его себе представляла...

Вечер тасует карты. Валет все никак не приходит. Играла ли где-то музыка, включен ли был громкий приемник или проигрыватель — пространство, насыщенное невидимыми волнами, навязывало ритм хмельному неясному гулу. *Король ложится на даму, который раз не на ту.* На темных стеклах мерцали отсветы телеэкранов, новости, драки, погони, выбор не так уж велик. За кухонным столом тощий седой мужчина в майке разливал из четвертинки водку по разнокалиберным стаканам, рука у него дрожала, вздрагивала вместе с ней тонкая медленная струя. Двое других, лысынами к окну, облегченно расслабились: не пролил. Явно не сейчас начали, были уже хороши, такие понятные, продолжения можно было не смотреть, столько раз видел. Обитатели бетонных геометрических клеток, отделенные друг от друга непроницаемыми перегородками, разбросанные в пространстве, а то и во времени, ничего друг о друге не знавшие, были в каком-то нездешнем измерении соединены во мне, через меня...

Трепет слабых свечных огоньков, стены растворены в полумраке. Двое топтались в том, что сейчас было для них танцем, он, как умел, она угадывая шаг, чтобы не наступил ей на ногу. *Мне бесконечно жаль...* Тяжелая виниловая пластинка, узнаваемый, до сих пор трогающий душу напев — можно ли объявлять его примитивным, если так отзывается спустя жизнь? Нет, не простые цифровые порядки, совсем другое. Уже близкое ожидание, неуверенность. *Мне бесконечно жаль...* Она почему-то вдруг отстранилась, сняла с себя нетерпеливую руку: нет, нет. Почему нет? Нет, не сегодня. Сегодня

я не могу. Ну как же, известное дело, это в юности я мог не понимать. *Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний...*

Угасало окно, другое, кому-то завтра надо было в раннюю смену... а вот эти четыре, с розовыми шторами, я уже знал, будут светиться всю ночь, до утра. Подпольный бордель, однажды его даже показывали по телевизору. Назвали адрес, Наташа, ахнув, подозвала смотреть: это же в том доме, напротив... вон там. Полуголые, в эфемерном бельишке, девчонки прикрывались, скорчась, отворачивались от камеры, одна смотрела в нее вызывающе: ну вот я, пяльтесь, если хотите. Милиционеры заполняли, разложив на столе, бумаги, бандерша что-то отвечала невозмутимо. Бумаги — это для камеры, в уме пишем свое. С милицией у них есть чем расплачиваться, вот, переждали, вернулись...

Зажигались, гадали, плыли в ночи вознесенные над землей разномастные окна, растворялись в ней стены. При свете ли розовых ламп, при сдержанных ли ночниках, в темноте ли за ними совершалось одновременно обыденное, привычное, неизбежное, навязанное природой, желанное, по-разному приятное, сладостное, для кого-то докучное, безразличное, как у всех, для кого-то подневольное, омерзительное, как исполнение долга, для кого-то единственное, невыразимое, непередаваемое, другим недоступное, такого ни у кого просто не может быть, впервые, всегда впервые — непостижимое, космическое священнодействие. Клетушки жилья парили в ночи, свободные от принадлежности к домам, как были свободны от времени и пространства видения начинавшейся полудремы. Лег ли я уже спать, не осознав перехода, снилось ли мне, что я продолжаю стоять у окна, вижу, как худошавый, в одних трусах, мужчина укачивает на руках ребенка, мерит шагами комнату?.. Приоткрывшаяся дверь впустила в нее полоску света, заглянула жена. Я на миг остановился, тронул губами лоб... да, горячая, и девочка опять проснулась, я возобновил шаги. Врач сказал, что у нее не простуда, не грипп, жар бывает и не от этого. Она могла увидеть что-то страшное. Может, мультфильм? Ну да, попробовал вспомнить я, как раз недавно был такой, там бедного зверька пропускали через мясорубку. Неосторожно было малышке такое показывать, согласился врач, на некоторых действует. Так она привыкает к жизни, пройдет. У всех проходит... Почему я сразу не вспомнил про смерть мамы? Вот что действительно подействовало на девочку... не хотелось, не позволял себе чего-то вспомнить...

На грани яви и полудремы, одновременно в обоих. Знакомые застекленные полки, ламповый старый приемник, открытый платяной шкаф. Мама, ссутуленная, маленькая, седая, извлекала из него костюмы, пиджаки, брюки, рубашки, передавала мне, я их выкладывал стопками, грудой на стулья, на обеденный стол. Оба не могли решить, что с ними делать, я узнал о благотворительной акции. Родное, усталое, возникшее из небытия лицо, добрые мягкие морщины, полинялый халат разорван под мышкой. Жизнь после похорон. Не стало того, кто носил эти вещи, мне они были малы, даже дотрагиваться невыносимо. (На шелковой серой подкладке ладонь ощутила прохладу неживого остывшего пота...) И вдруг этот непонятный, пугающий взгляд. Вы хотите унести эти вещи? Это для моего сына. Для какого сына? Вот же я, мама. Ты что, перестала меня узнавать?.. Случилось тогда в первый раз, ненадолго, она почти сразу опомнилась, потеряла пальцами лоб, сама сумела обернуть недоразумение в шутку, не стоило на нем задерживаться. Но стало повторяться, все тягостней, все болезненней. Смотрела со мной альбом семейных фотографий, вдруг перестала узнавать. Кто это? Папа был совсем не такой, повторяла с нарастающим раздражением. Найди, где папа, мне надо его увидеть. Как будто переставала понимать, что его уже нет, фотографиями я не просто его подменял, они мешали вернуться тому, кого она помнила,

не черно-белому, уменьшенному, застывшему. А время спустя соседи увидели дым из маминого окна, вызвали пожарных. Она жгла фотографии в эмалированном тазу, вытаскивала их из альбома, ложкой перемешивала пепел. Переселяться к нам отказывалась, гордо хотела до конца оставаться самостоятельной. Мы ночевали у нее попеременно с Наташей. Да и как было ее взять к себе, в две тесные комнаты, и Соня была еще маленькой? Врач предлагал больницу, но страшно было этих больниц, знали мы их, а мама рвалась вернуться к себе, в родную Улановку, приступы перемежались с просветлениями. Пока я однажды все-таки не уследил за ключами, отлучился совсем ненадолго, она сумела сама открыть дверь. Искать ее пришлось уже через «скорую помощь»... Не вспоминать бы эти странствия по психиатрической преисподней, эти чудовищные запахи, страдальческий голос! *Не было... этого не было, не говори мне. Этого не могло быть.* И лицо, ставшее неузнаваемым, глаза, ставшие неузнающими, уже насовсем. *Я не могу этого помнить. Я не хочу...*

22

Слова были буквами на голубоватом экране, они двигались, не позволяя себя остановить, задержать. *Этого не было. Этого не могло быть...* Пришлось открыть глаза. Оказалось, я не просто вспоминал, как вначале казалось, вчерашнее — ухитрился незаметно задремать в кресле. *Я не могу этого помнить...* Ускользало, таяло, гасло. *Я не хочу...* Нет, что-то было еще, раньше. *Кто больше помнит, кто больше забыл...* Или это потом? Где-то вот тут, близко... Победитель конкурса... Нет, исчезло окончательно...

Я встряхнул головой. Подняться с кресла оказалось непросто: ноги затекли от неудобной позы. Вышел, заглянул опять посмотреть на студента. Тот умиротворенно сопел, подходить к нему не имело смысла. *Кто больше забыл...* кто с кем состязался?.. Еще раз качнул головой, усмехнулся, прикрыл дверь, отошел.

Опять дал знать о себе желудок, заставил мысль сдвинуться хоть куда-то. В холодильнике не осталось даже куска ветчины, и в хлебнице последняя черная горбушка. Я достал пакет майонеза, тоже почти пустой, выдавил остаток на зачерствелый кусок — лишь раздражил чувство голода. Еще раз подумал, что надо все-таки сходить в магазин, ненадолго парня можно оставить одного. Но что с ним делать, когда он придет в себя? Нет даже машины, чтобы отвезти его домой...

Странно, что я раньше не вспомнил в тот день о Евгении Львовиче. Вот кому надо было сразу позвонить, сказать, что его рыжий подопечный застрял у меня. Без подробностей. Ректор может приехать, распорядится, сам даже отвезет домой, у него машина, адрес он знает. Не пришло в голову.

Я раскрыл телефонную книжку, нашел университетский номер. Евгения Львовича нет и сегодня уже не будет, сообщил прелестный голос. Я эту секретаршу знал, голос удивительно не соответствовал внешности: сухощавая, с усиками над губой. Нет, передать я ничего не хотел. Домашний номер у меня тоже имелся. «Вы звоните по телефону...» — отозвался голос Монины. Автоответчик. Нашелся в книжке и номер мобильного, набрал цифры. На этот раз откликнулась автоматическая женщина. Абонент вне зоны доступа. Где его можно искать еще, на ум не приходило. (А ведь ректор толковал что-то насчет Лондона, парню надо было непременно туда, и, помнится, даже срочно. Такая была спешка. Поинтересовался бы, что с ним, почему никаких новостей, ни слова. Забыл.)

Некоторое время я еще посидел без мыслей. *Этого не было. Этого не могло быть. Я не могу этого помнить, я не хочу. Победит не вспомнивший больше — тот, кто сможет больше забыть...* Чуть ли не стихи. Разбудить, что ли, наконец

этого студента? Просто вызвать такси, адрес парень сам скажет шоферу? И что дальше? Оставить его там одного, без попечения, без родителей?..

Вдруг вспомнил о реферате, который этот рыжий вытащил из-за спины, когда я повел его в ванную. Не там ли он и остался? Заглянул: мятые листки действительно валялись на кафельном полу, упали с узкой боковой полки. Один уголок был, видно, слегка подмочен, уже подсох, испачканные кровью пальцы оставили на бумаге образцы дактилоскопии, кровь тоже подсохла, потемнела.

Я вернулся к себе в кабинет. Солнце, оказывается, успело сдвинуться, законное сияние гасилось башней напротив. Понадобилось включить настольную лампу. Новый абажур для нее собственноручно смастерила незадолго перед отъездом Наташа, очень удачно подобрала материю от сломанного зонтика. Теплый золотистый свет был успокаивающим, ласковым, как ее присутствие. Я надел очки, развернул сложенные вдвое листы — хоть чем-то займу время.

Текст начинался сразу, без заголовка, без абзаца, с краю. *Предмет не определен правила неизвестны заглавие в конце.* Без знаков препинания, не везде заглавные буквы, вылезающие без объяснений цифры, болезненная невнятица. *Длина желтой волны до любого знака... длина синей... гениальность мозга без математических вычислений...* Читать это было невозможно. Не думал, что опасения так подтвердятся. *Чтобы пробить стену лабиринта...* нет, это было хуже, чем я мог ожидать... *дендриты и аксоны самонастраиваются...* Бред. Не приди студент в таком состоянии, я посмотрел бы эти листы сразу. Понимал ли сам бедняга, что он мне принес, успел ли, мог ли прочесть сам? *База ресурсов будет расширяться сама собой... как рыба еще в воде не потускневшая на воздухе...*

Господи, он даже нашел где-то в Интернете стихи, которые я ему пробовал процитировать на зачете. Перевернул следующую страницу. *Момент истины развернут во времени означает осуществление... тень предмета которого не существует порождает предмет...* Болезненный бред на грани поэтической гениальности. Под наркотиками, я слышал, такое бывает... *яблоком по голове...* На этом слове страница заканчивалась, следующая так просто не открывалась: листки слиплись, должно быть, от попавшей между ними крови. Отколупывать не захотелось, мешала брезгливость — и незачем. *Тень предмета, которого не существует, порождает предмет...* Наркотики, какие тут могли оставаться сомнения. Хорошо, хоть доехал ко мне живой, глядишь обойдется. *Заглавие в конце...* Бедный мальчик. Будем надеяться, что через какое-то время удастся привести его в норму. Надолго ли, насовсем? Тоже вопрос.

Грустно, как это все было грустно, как безвыходно. Я отодвинул листы в сторону. Потер пальцами виски, как после утомительной работы. *Я не могу этого помнить, я не хочу...* Не хочу. За стеной опять заканючила Хабанера, как не теряющая надежды побирушка, обиженная, уже усталая, умолкла. А с Мониным все никак не удавалось связаться. Надо было попробовать еще раз, может, все-таки получится.

И опять по домашнему номеру автоответчик. На этот раз я уже был готов дожидаться обещанного короткого сигнала (не догадался сразу, как тупо работают мозги!), продикутовал в пластмассовое ухо, что студенту Роману Тольцу пришлось задержаться у меня дома, с ним возникли проблемы, которые я не могу объяснить по телефону. Ничего лучше придумать наскоро не сумел, да и неважно, позвонит мне в ответ сам, уточнит. Очень надо бы как можно скорей с вами, Евгений Львович, связаться. Уж извините, что беспокою, добавил неуверенно, выдержав паузу, но так получилось.

Не первый раз отмечал, до чего неестественно, противно звучит голос, когда говоришь с аппаратом, как зажато складывается мысль! Что он подумает о моих словах? — я усмехнулся, положив трубку. Знал ли он сам, какие

проблемы у его мальчика?.. Да, отчего бы не позвонить еще по мобильному, глядишь, он уже в зоне доступа?

Едва я вновь дотронулся до трубки, она вдруг словно вздрогнула от прикосновения, заставив вздрогнуть и меня. Неужели ректор наконец-то откликнулся?

23

Звонила Наташа, уже с дороги. Няню Фросю удалось отвезти в районную больницу, пристроить там. Договорилась с персоналом, оставила, кому надо сколько надо. Зарядить по пути мобильник сумела только сейчас. До Москвы осталось полтора-два километра, могла бы доехать за два часа, но хорошо, если удастся часа через три, пробки уже начались.

И будто отозвалось где-то в канцелярии наверху, кто-то сменил освещение, воздух жизнеутверждающе посветлел, солнце высвободилось из-за башни. Можно было выключить лампу, улыбнувшись на прощанье Наташиному абажуру. Листы на столе словно съжились, потускневшие, стали еще больше мятыми, болезненно мятыми, думать о них не стоило, не сейчас. Захотелось всему улыбаться, мысли засуетились. Надо срочно что-то готовить, к обеду ничего не куплено, холодильник пустой. В магазин, первым делом скорей в магазин! Только проведать еще этого беднягу...

Я подошел к спящему, легонько тронул его за плечо. Правый глаз слегка приоткрылся, губы шевельнулись, но звука произнести не сумели. Ну и ладно, подумал, хорошо, если до моего возвращения не проснется, пусть еще поспит. Хорошо, если наркотики — случайный срыв. Если бы подсел всерьез — не мог же Монин совсем ничего про это не знать, нахваливать парня, намекать на какие-то обстоятельства. Может, просто переутомился перед экзаменами, подвернулась неизвестная дрянь, бывает всякое. Что-то с этим рыжим так до конца и не прояснялось, толком даже не знаешь, что надо прояснять. И не надо. Я думал о нем без раздражения, с сочувствием, похожим на жалость. Прикрыл ему пледом ноги, подтянул немного еще повыше.

Погода была солнечная, можно было не надевать пиджак. Я вышел из квартиры, стал запирать за собой дверь — и на линолеуме возле дверного коврика увидел пятно. Пригляделся: это была кровь, подсохшая. Студент, значит, наследил и здесь, не хватало еще этой заботы. Пришлось вернуться за тряпкой. Вообще-то, все эти дни без Наташи я дома даже не подметал, она запретила, уважала приметы: нельзя подметать, пока не вернется уехавший. Но тут было не до примет.

Протер кое-как линолеум, вернул тряпку на место. Когда подошел лифт, я, войдя, посмотрел на пол: точно, и здесь на линолеуме была кровавая клякса, кто-то уже размазал ее край подошвой. Возвращаться еще раз за тряпкой я не стал, решил, что подотру потом. Какой-нибудь сыщик мог бы по этим следам пройти прямо к моей двери, — я усмехнулся, примеряя детективный, а впрочем, сказочный сюжет. Как в той истории про сорок разбойников. То есть надумал бы пройти, да не дойдет: моя дверь теперь не отмечена. Позаботился, как хитрец из той же истории. На ходу все-таки продолжал поглядывать себе под ноги: могло ведь и у подъезда капнуть, у домофона. Нет, крови нигде больше не оказалось. Зато в стороне от подъезда на асфальте было написано несмываемой белой краской:

Любовь это яд,
Я отравлен тобой,
Один только взгляд,
И быть вместе с тобой.
Анечка, ты прекрасна!

Крупно, чтобы эта Анечка могла прочесть со своего высокого этажа. Интересно какого? Я остановился, поднял взгляд, примерил. Дневные окна погасли вместе с вечерними видениями, стали непрозрачны, как стены. Трезвый свет выявлял швы между панелями, замазанные черной смолой. На лоджиях сушится белье, иные застеклены, другие используются как чуланы, бетон в грязноватых подтеках. Обиталища нелегальных приезжих, безразличный спальный район, типовые дома, поставленные без души, но скольким они облегчили жизнь, как в свое время нам с Наташей! В этих многоэтажных, многоподъездных постройках не знаешь даже близких соседей, только в полудреме захмелевшему уму почудится, приоткроется на миг чья-то неизвестная жизнь — а вместе с ней вдруг узнаешь свое, надежно забытое. *Хочешь больше помнить или больше забыть?..* Крутится где-то виниловая тяжелая пластинка, для кого-то музыка — безразличный мешающий шум, для кого-то мир, способный разрастаться в душе. Не передашь, не объяснишь и написать об этом не сумеешь — не те способности. Разбирайся каждый, как может. Стишок на асфальте — не литература, что говорить, но и это чья-то жизнь, всегда особенная. Для кого-то он значит не меньше гениальной поэзии...

Все никак не удавалось собрать, прояснить мысли. У мусорного ящика худенькая женщина в сером платье перебирала выброшенные кем-то цветы. Здесь, у ящиков, то и дело кто-нибудь промышлял, с пакетами, с рюкзаками, божжи, не божжи, не всегда отличишь по одежке, тут же подобранной. Теперь ведь выбрасывают новенькую, почти не ношеную, когда-то за такой стояли в очередях. Народ с некоторых пор наглядно стал богатеть, можно было подобрать недешевые вещи, устаревшую, но не испорченную технику, магнитофоны, телевизоры, кто-то этим жил. Женщина встряхивала, прихорашивала по одной мелкие розы, выравнивала лепестки, совсем увядшие, мятые непоправимо возвращала в ящик, из остальных составила букет. Пошла с ним впереди меня. К себе, примеривал я, домой понесла? Или попробует продать? Женщина склонилась к букету, поднесла к лицу. У нее была короткая стрижка, тонкая шея. Какой аромат мог быть у этих цветов? У оранжерейных известно какой, похоронный, лучше не проверять. Она вдруг обернулась, словно почувствовала мой взгляд, смутилась, ускорила шаг. Я успел уловить на ее лице улыбку. Лицо старенькой учительницы, получившей к празднику цветы. Боже, боже!..

Надо было на время замедлить шаг, чтобы она могла удалиться. Повернула, пошла в сторону недавно вставленной среди домов деревянной часовой или, может, небольшой церквушки, никогда не заходил внутрь. Да вряд ли такому, как я, было там что смотреть. Не искусство, не великая архитектура. Но кому-то это оказывалось нужно, кого-то поддерживало. Как людей вроде меня все годы поддерживала литература. Помогала отвлекаться от повседневного гнетущего убожества, не сломаться, не опуститься, не стать алкоголиком или циником. На месте часовни когда-то ютился фанерный сарайчик, пункт приема стеклотары, я стаивал перед ним в полуторачасовых очередях, чтобы выручить несколько рублей с копейками. Передвигал у ног шаг за шагом две увесистые сумки с пустыми бутылками и вновь утыкал взгляд в ксерокопированные страницы. Разговоры в очереди переставали для меня существовать. Листки на всякий случай стоило прикрывать от чужих взглядов: не пришлось бы объяснять, откуда у тебя эти копии, ксероксы полагалось держать под замком, только для служебного пользования. Дискуссия о подлинности «Слова о полку Игореве». Тоже самиздат того времени. *Не лепо ли ны бяшетъ, братие... Исчезнувший оригинал, несообразности в копиях, анахронизмы, проблема подлинности... начяти старыми словесы...* Боже, до сих пор наизусть помню. Превыше всех доводов была для меня очевидная, неоспоримая гениальность, ее не подделаешь. Как такое могло

возникнуть не в стране с многовековой историей, великой культурой — в захолустном княжестве, без литературных предшественников, без языковых образцов, даже сравнить не с чем? А почему, собственно, нет? Вот тот же Чехов — возвращался я к недодуманной, отложенной мысли. Как это мне говорил Ласкин: для европейцев его можно почти не комментировать, никаких зашифрованных аллюзий, отсылок, мифологем, не то что Джойс или тем более Данте. Но разве любому человеку, в какой бы стране, в какой бы занюханной провинции он ни жил, не доступна мировая литература, мировая философия, да хотя бы Священные Писания — чем этого не достаточно?..

Насчет занюханной провинции — тут профессор, впрочем, цитировал уже своего любимца Богданова, пришлось воспоминание поправить. В самой простой частной жизни есть то же, что у великих, есть жизнь и смерть, есть природа, любовь, мироздание... что-то в таком роде. Каждому дано ощутить жизнь под небесами, для гениальной вспышки достаточно мгновения... да, и там было про гениальность. Бог в каждой травинке и капле... Помню, как читал это у Ласкина все с той же снисходительной усмешкой: меня, видите ли, уже тогда заботили судьбы культуры, не меньше...

Тут я вдруг на мгновение остановился. А может, подумал, честней было бы на самом деле признаться, что по природе, в душе ты сам всегда был, по сути, таким именно провинциалом, которому достаточно озирать мир из своего уголка? Показалось мало? Не отвечало каким-то литературным представлениям? Что тебя, собственно, смутило? — продолжал я размышлять, возобновляя путь к магазину. Чувство, что остановился, расслабился, так до чего-то и не добравшись? Не хватило желаний ли, силенок, а больше всего, может, смелости, беспощадной к себе смелости? Засорились ли, затвердели, заросли склеротическими бляшками сосуды, обеспечивающие полноценный ток мысли? Нет, не надо быть таким уж несправедливым к себе. Признавать свою ограниченность не всегда бывает приятно. Но, может, именно она, ограниченность, позволяла человеку твоего устройства жить в нашем ужасном времени. В другом нам жить просто не довелось. Мы знали, что творится в стране, считали возможным существовать, как могли, не мы одни, а как было иначе? Убежать до поры было некуда, сопротивляться способны были немногие. Стоило ли себя задним числом корить за бесчувственность, ограниченность? И сейчас ведь живут так же. Где-то совсем близко воюют, гремят взрывы, чудовищные землетрясения сметают города, цунами разрушают дома, люди гибнут сотнями, тысячами, миллионами, продолжают гибнуть в самое благополучное время, экраны предлагают сладострастно смаковать все новые ужасы. Вот, говорят, даже земная ось сместилась на десять, кажется, сантиметров. И что? В нас все эти бедствия не могут полноценно проникнуть, если они не коснулись наших родственников или близких. Не биться же головой о стену. Только всплескивать по-женски руками, покачивать головой: надо же! Было, прошло, перестает волновать...

Малыш на трехколесном велосипеде чуть не врезался в меня, я успел увернуться, направил ему руль, улыбнулся поощряюще: молодец, хорошо гоняешь. Нельзя было смотреть на эти существа без улыбки... Да, надо, надо было кое-что еще перепроверить, переоценить, возвращался я к своему, пусть не сейчас, не сразу. Еще есть впереди время, не настолько закостенел. Не стоит смущать себя сравнениями неизвестно с кем. Все зависит от взгляда, от его настройки. Провинциальный философ сумел уловить что-то, не додуманное другими. Не дали себе труда оценить подсказанное им емкое слово... Да, да, вдохновлялся я, незаметно ускоряя шаг, ты боялся и в своей филологии оказаться провинциалом — а может, не того боялся...

У продуктового магазина асфальт был инкрустирован пивными пробками, у самого подъезда гуще, поодаль реже. Здесь нетерпеливо открывали бутылки зубами, пробки бросали, они втапывались в размягченный некачественный

асфальт, иногда острыми краями, тогда отблескивал сплошной круг, иногда кругляшом вниз, тогда проявлялась волнистая окружность, в мостовую добавлялся фрагмент еще одной непрехотливой мозаики — как составляется жизнь из непрехотливых мгновений: набралось денег на бутылку, утолена первая жажда, сразу из горлышка слаще, дальше лучше не торопиться, идти с бутылкой в руке, жмурясь на майском солнце, ехать в автобусе, прикладываясь к горлышку время от времени, понемногу, желательно понемногу, растягивать, насколько хватит емкости и терпения, ощущать нарастающий, веселящий шумок в голове, во всем существе, в окружающем мире, право же, не таком уж плохом...

— Уплатила такие деньги, — донесся до меня разговор, — теперь вторую неделю хожу приклеивать. Один проглотила. — Какой ужас! — отозвалась собеседница. Две дородные женщины у входа, не выпуская из рук тяжелых сумок, обсуждали что-то загадочное. Я невольно задержался, прислушался. — Вот этот проглотила, — одна вдруг высвободила изо рта протез, показала прореху. — Какой ужас! — сладострастно подтверждала другая. — Тысяч сорок, наверное, стоило? — Какие сорок, сто тридцать. Теперь вторую неделю...

24

Я, не дослушав, вошел в магазин. Зуб она проглотила. Отломился от протеза. Как-то совсем вдруг стало просто и весело. И ведь уже было решил не покупать водки, не следовало мне этого делать — но вот, грешный человек, все же не удержался, купил. Приличную, из дорогих, двойной очистки, мы с Наташей ее в свое время вместе облюбовали. Представилось, как будем пить с ней из стопок, купленных в Берлине, с Бранденбургскими воротами и германским гербом... так, право, хорошо. Ну, и сухого молдавского каберне, это скорей на вечер. Из горячей еды не сумел придумать ничего лучше свиных отбивных, да на всякий случай, для скорости, еще сосисок, взял тоже самые дорогие. Все-таки не супы быстрого приготовления, которые я без Наташи разводил для себя в кипятке, на это соображения хватило. Обойдемся без супа. И еще разной всячины. Пива купил. Помидоров. Яиц. Кофе. Красную рыбку. Наташа меня, конечно, разбаловала, что говорить, разучился без нее ориентироваться, выбирать. Про хлеб вспомнил в последний момент.

Вышел из магазина с полными пакетами. Те же две женщины перед входом продолжали обсуждать неисчерпаемые свои темы, сумки все же поставлены были на асфальт. Собаки не давали им жить. Вы не представляете, лают всю ночь, до двенадцати, спать не могу. Вы бы сказали. Что ж я, ночью побегу? Лают и лают, до двух часов. Раньше в коммунальных жили, так понимали. В коммуналках собак не держали. Раньше понимали, как жить... Подальше от крыльца парень в оранжевом шлеме, полусидя на мотоцикле, одна нога на асфальте, дожидался, должно быть, девушку. Вместо номера на заднем крыле красовалась табличка: «Первое занятие бесплатно». Реклама обучения в какой-то мотоциклетной школе, понял я. Только проходя, увидел ниже, под самым сиденьем: «Секс-инструктор высшей категории»... Ах, черт побери, право же, хорошо!

И лишь тут опять вспомнил про оставленного дома студента. Ненадежно, однако, стала вести себя память. Собирался ведь купить для него еще йод и бинты, теперь надо было тащиться в аптеку с сумками, да еще такими нелегкими. Задержался в нерешительности, потом вспомнил, что совсем рядом появился, кажется, еще уличный аптечный киоск.

Я прошел за угол и там во дворе, у спортивной площадки, увидел небольшую толпу.

Почему скопление людей сразу же вызывает мысль о недобром — какие еще события притягивают к себе, словно магнит опилки? Предчувствие коснулось меня, еще не прояснившись. Между спинами зевак издалека можно было различить ярко-голубую машину. Она уткнулась левой фарой в фонарный столб, осколки стекла отблескивали на асфальте, капот лишь слегка был помят. Милиционер уже закрывал свой планшет, прятал в сумку рулетку. В группе поодаль свидетель или участник горячо жестикулировал, показывая не успевшим узнать подробности в сторону, откуда я пришел. Другой, успевший удовлетворить свое любопытство, направлялся ко мне. Это был знакомый сосед, худой пожилой таксист. Его машина с шашечками обычно стояла у подъезда, когда он заезжал домой пообедать. Я дождался, пока он со мной поравняется.

— Что там, — спросил, — такое? Кто-то разбил машину?

— Да не то чтобы очень разбил. Не справился, мудака, с управлением. Наверное, пьяный, нашел же, куда заехать. Я бы с этими...

— Никто не погиб? — Я не дал ему договорить заготовленную тираду. Можно было самому догадаться, что бы этот профессионал сделал с пьяными за рулем. Шоферы, да еще такие худые, желчные, бывают особенно злы.

— Вроде никто.

— И водитель жив?

— Сбежал, говорят. Вон, вроде тот сосед видел, как ковылял в сторону нашего дома. Говорит, шатало его.

Вот так! Я словно забыл, что сам уже готов был к этой догадке. Предчувствие не просто соединилось с наглядной картинкой — все становилось почти очевидным. Это была, конечно же, машина Тольца. Я видел ее на стоянке перед университетом, приметный голубой цвет, с другими не спутать. Парень был, видно, уже хорош, когда сидел за рулем, но скрыться хватило ума. Или удачи. Место было укромное, никого поблизости не оказалось, потому, должно быть, милиционер появился не сразу, а с ним и народ. Хорошо, если он действительно никого не задел, думал я, машинально двигаясь к дому. Страховку, скорей всего, не оплатят, но машину ему починят. Или купят новенькую. Для этих папенькиных сынков... как их теперь называют — мажоров?.. деньги для них не проблема. Да о чем вообще я думаю? Мне бы с другим сейчас разобраться...

Недавняя расположенность к способному, хоть и непутевому парню сменилась опять раздражением. Про аптеку я снова вспомнил, уже поднявшись на свой этаж. Ладно, придет Наташа, она, что надо, найдет. Поставил на пол у дверей два тяжелых пакета, стал доставать ключи.

Кто-то спускался по лестнице сверху, пешком. Звук шагов за спиной замедлился, остановился. Я оглянулся, кто там идет — и в первый момент не узнал человека несколькими ступеньками выше. Может быть, потому, что он был освещен из лестничного окна со спины, может, из-за больших темных очков, из-за красной спортивной куртки, и к бритому черепу я еще не привык. Это был Пашкин. Он тоже, казалось, не ожидал меня увидеть.

— Здравствуйте, — расплылся в вынужденной улыбке. — Вы что, здесь живете?

— Как видите, — подтвердил я, вставляя ключ в замочную скважину. — А вас какими судьбами сюда занесло?

Пашкин замялся.

— Мы тут договаривались кое с кем встретиться.

— На лестнице?

— Нет... Наверное, перепутал подъезд... или этаж.

— А-а. — Я не стал уточнять. Мы оба предпочитали не договаривать. Неожиданно все было для обоих. Повернул в скважине ключ, открыл дверь.

— У вас тут ничего не случилось? — не выдержал все-таки Пашкин. Прямо, однако, не стал спрашивать. Я оглянулся на него вопросительно. — Тут кровь в лифте, — вынужден был пояснить он.

Я, опять затылком к нему, отрицательно покачал головой, поднял с полу сумки с продуктами, немного демонстративно, словно показывал: видите, только пришел, был в магазине.

— Всего доброго, — полуобернулся, прощаясь.

— Спасибо, — сказал он. — И вам всего доброго.

Немного задержался, потом пошел дальше вниз. Закрывая за собой дверь, я увидел, что Пашкин оглянулся еще раз. Содержательно провели разговор.

Почему я не сказал ему про Тольца, что меня удержало? Конечно же, он искал его — почему? Что уже знал? Почему здесь? Поднялся на верхний этаж, спускался пешком, проверял. Возможно, рыжий говорил ему, что едет передавать зачет ко мне домой, но не сказал адрес? С какой стати? Нет, тогда бы для Пашкина не было такой неожиданностью увидеть на лестнице меня. Кроме капнувшей крови, ни о чем спросить не хотел? Я у своей двери вытер. Но почему все-таки он? Для меня что-то не соединялось — и все больше не нравилось, как не нравится всякая непроясненность.

Я внес сумки на кухню, поставил на пол возле холодильника, стал размещать в нем продукты. Из комнаты опять слышалось пиликанье Хабанеры. Я заглянул туда. Студент слегка сполз в кресле вниз, лежал, раскинув ноги, свесив голову на плечо. Гематома на лбу и скуле набухла, расцвела синевой, на губах держалась все та же идиотская расслабленная улыбка.

Звонок в дверь заставил меня почему-то вздрогнуть. Наташу я так скоро не ждал. Это мог быть Пашкин. Узнал все-таки, что Роман у меня... у кого, зачем? Я старался ступать беззвучно, хватило ума заглянуть сначала в глазок. Удалось различить только синюю грудь, цвет милицейской формы, погоны были выше — кто-то громадный в глазок не вмещался. Еще не подумав об этом отчетливо, я уже знал, что открывать не стану. Меня нет дома. Я в ванной.

Звонок повторился. Нет дома. И третий раз. Милиционер повернулся, что-то сказал — кому? Кто был с ним рядом? Не Пашкин ли? Зачем этому служивому понадобилось ко мне? Я оказывался чуть ли не соучастником.

Теперь зазвонил телефон в моем кабинете. Я привычно заспешил к нему — и остановился. Аппарат был старый, без определителя номеров. Что, если звонят из милиции? Меня же нет дома. (Нелепое беспокойство, само сознание этой нелепости было неприятно.)

Наконец сообразил сам связаться еще раз по мобильнику с Наташей. Нет, она не звонила, стояла в пробке между Пушкиным и Мытищами, слушала музыку. Слабо доносился узнаваемый шансон, названия не мог вспомнить. Стала расспрашивать, чем я сейчас занимаюсь, отчет о магазинных покупках одобрила...

Или, может, это ректор нашел мой голос в автоответчике? — подумал, едва положив трубку. Для проверки решил опять позвонить Монину. По мобильному телефону та же автоматическая дама подтвердила, что абонент все еще вне зоны доступа, по домашнему голос ректора предложил оставить сообщение. Я на всякий случай повторил призыв еще раз. Надо было разбираться самому.

Я подошел к студенту, потормошил за плечо, еще раз, сильнее. Юноша приоткрыл один глаз, мутную щелку, другой совсем заплыл сливовой синевой. Голова попробовала приподняться, но не осилила собственной тяжести,

стала медленно возвращаться к плечу. Я потормошил снова, похлопал по здоровой щеке пальцами, еще, тыльной стороной. Главное было не отпустить его, не отпустить.

— Давай, просыпайся... давай, — повторял я, не замечая, что нечаянно перешел на «ты». Глаз наконец открылся, понемногу стал фокусироваться. — Просыпайся... эй! Тебя ищут, ты это знаешь? Понял, что я говорю? Ищут!

Видно было, как он понемногу начинает соображать.

— Ищут? Что?.. Кто ищет?

Я взял со стола чашку остывшего кофе, поднес к губам рыжего. Тот хлебнул, осторожно — губам, видимо, было больно. Отстранился, повел головой: нет, лучше не надо.

— Вы меня... вы изви... — начал было с трудом, медленно. В этот момент опять зашебетала Хабанера. Тольц потянулся в карман, чтобы извлечь мобильник. Я остановил его руку.

— Подожди, сразу не отвечай. Посмотри сначала, кто звонит. Тебя ищут, понял? Или не понимаешь? Что с тобой, где ты? Лучше пока отключи, перезвонишь сам.

Роман неожиданно подчинился, как будто автоматически, Хабанера обрвалась на полутакте. *Ее нельзя ни...*

— Кто это тебе звонил? — пришлось напомнить еще раз. — Посмотри.

Он посмотрел.

— А-а... Пушкин, — губы искривились болезненно.

— Какой Пушкин? — Я уже начинал сердиться. — Сейчас не время прикалываться. Какой Пушкин?

— Ну, Пашкин, Слава, — немного растерянно объяснил Тольц. Облизнул осторожно губы. — Мы его так зовем: Пушкин.

Господи, мог бы догадаться сразу! Ай да сукин сын!

— Так вот слушай, сосредоточься, — надо было говорить отчетливо, чтобы дошло: — я этого Пушкина только что встретил здесь, на лестнице, у своих дверей. Похоже, он тебя ищет. Слышишь? Он — тебя — ищет, — повторил отдельно. — Здесь, в этом доме. Понял или нет? Помнишь хоть, что с тобой было? Вычислил, решил, что ты прячешься здесь. Ты ему сказал, что едешь ко мне? — Я по инерции продолжал говорить «ты», оба этого не замечали.

— Н-нет, про вас я не говорил.

— Но адрес он, очевидно, знал, откуда?

В мозгу Тольца что-то медленно, с усилием, проворачивалось, нащупывало соединение, замкнулось.

— Ну... посмотрел в навигаторе.

— В каком навигаторе?

— Ну, навигатор... в моей машине. Когда был за рулем. Я ввел ваш адрес, номер дома... только без квартиры. И без фамилии, конечно.

— Пашкин вел твою машину? Это как?

— Вначале он вел. Потом я от него удрал.

— Очень интересно! Он вел, ты удрал, разбился о столб, оказался у меня. Вы оба, что ли, были под кайфом? Он, похоже, нет. Мне надо все-таки знать, что у вас произошло, как ты думаешь?

Рыжий глянул на меня как будто с испугом. Он, похоже, все больше приходил в себя. С усилием поправился в низком кресле, выпрямился.

— Можно, я схожу, прополощу рот? Очень сухо... трудно.

— Нет, лучше пока посиди, сделаю сам, — я остановил его попытку подняться. Не хватало еще опять волочить это тело на себе к умывальнику. Сходил на кухню, принес кружку с теплой водой, большую миску для полоскания, догадался в последний момент прихватить и бумажные салфетки.

Юноша набрал в рот воды, осторожно, медленно прополоскал, но выплевывать не стал, проглотил. Сделал еще глоток. Я держал перед ним миску, он наклонил над ней лицо, движением попросил, чтобы я налил воды ему в сдвоенные горсти, сполоснул глаза, виски, лоб, еще, с видимым наслаждением, но так же осторожно. Промокнул лицо бумажной салфеткой, поискал, куда ее положить, опустил в миску.

— Спасибо, — поднял на меня уже достаточно оживший, во всяком случае промытый, осмысленный взгляд. Я поставил использованную посуду на стол, сел напротив него, оказавшись немного выше.

— Ну, давай рассказывай. Что у вас было с Пашкиным, почему он тебя ищет? Кстати, насчет зачета. Ты ведь понял, кто принес мне тот же реферат, что и ты? Кто, где, у кого скачал?

— Он у меня, конечно. Я же вам говорил... я ни у кого...

— Он у тебя скачал, а ты, что ли, не знал?

— Ну да. Только на зачете стало доходить, и то не все. Не сразу.

— Как это могло получиться?

— Могло. — Тольц пожал плечами, усмешка его губам не давалась. — По-всякому. Ему же надо выглядеть интеллектуалом. Показывать себя перед кое-кем. — Губы его чуть скривились. — На некоторых производит впечатление.

(Уж не на меня ли? — я мысленно усмехнулся. Нет, конечно, нетрудно было догадаться на кого. Приятели, однако.)

— А он знал, что ты собираешься на зачет с тем же рефератом? — спросил я. — Ты мог не опоздать, прийти раньше?

Тольц опять пожал плечами, слегка скривил губы.

— Он знал, что я опоздаю. Если бы и не опоздал... главное, чтобы раньше меня. Я же вам говорил, я собирался принести другую работу... — (Ну да, Кассандра забастовала, это я уже слышал.) — Вышло для него даже прикольной, чем он думал. Долго все объяснять, я сам только вчера вечером стал понимать. Даже сегодня.

И замолчал, уставился угрюмо на подлокотник кресла. Сегодня он стал понимать. Когда этот Пушкин оказался за рулем его машины, потом пришлось от него удирать, потом по голове стукнуло. Прикольной, чем думал. Стоило ли тянуть из него дальше, прояснять посторонние для меня отношения? Как будто сам оказался в них втянут, вынужден с этим недотепой возиться, укрывать от милиции.

— Но ты, — спросил все-таки, — хоть потребовал от него объяснений?

— Конечно! Я только вышел от вас, сел в машину, сразу ему стал звонить. Гудки, он не берет трубку, потом отключается. Наверное, увидел мой номер, говорить не хотел. Но погудеть дал. С этой ухмылкой своей, представляю. Я потом звонил еще... нет, все долго рассказывать...

Опять мотнул головой, что-то вспоминая, перебирая. Солнце то пряталось за облаком, то постепенно высвобождалось, воздух в комнате вновь начинал светиться, светилась невытертая пыль на столешнице, плоский узор на обоях. Ну, не хочет рассказывать, и не надо. Скоро приедет Наташа, вызову такси...

— Он позвонил потом где-то к вечеру. — Тольц все же не удержался. Чувствовалось, что он все больше приходил в себя, начинал понемногу возбуждаться. — Я уже не ждал, надо было справиться с рефератом, вы уже назначили время. С компьютером что-то непонятное... навалилось многое сразу. Даже заорать на него не смог, как хотел. Слова заготовленные забыл. А он вдруг сразу: извини, у меня к тебе разговор. Ничего себе: у меня к тебе! Это у меня, говорю, к тебе. И начал было про свой реферат, то-се... Он меня оборвал. Про это, говорит, потом, не по телефону, нам надо встретиться.

Не по телефону мне даже лучше. Хорошо, говорю, встретимся, прямо сейчас, что откладывать. Нет, сейчас он не может, бизнес, все расписано до минуты. Бизнес, как же. Не хотел сразу выложить, зачем я ему нужен, тянул. Какие-то свои расчеты. Неожиданные обстоятельства. Опять с извинениями... он это умеет... В общем, назначил на сегодня в одиннадцать. А я сегодня как раз в одиннадцать не мог, уже с вами условились. И после одиннадцати не мог, но это ему говорить было нельзя. Не могу, и все. А он тогда уже другим тоном: надо, значит, сможешь, ничего не могу поделаться, и ведь всего на минутку. Бизнес... Нет, тут слишком разное надо объяснять...

Замолк опять. Если он что-то и хотел объяснить, становилось только запутанней. Невнятица, недоговоренность на недоговоренности. Но тут я кое-что мог договорить за него сам.

— Отец тебе позвонил еще до этого разговора?

Тольц поднял на меня удивленный взгляд.

— Мне?.. — чувствовалось, как в голове его опять что-то перестраивается. — А вы и про это знаете? Ну, конечно... еще плохо соображаю. Нет, он не мне, он дяде Жене звонил... Евгению Львовичу, извините. То есть не звонил, связался с ним по имейлу. По телефону он не хотел... — Роман опять стал сбиваться. — Не знаю, как объяснить. Так все налезло одно на другое.

(Значит, не он звонил ректору, что зачет провалил, дядя Женя студенту звонил сам, по другому поводу. Это уже на что-то похоже. Я просто не так по телефону услышал.)

— А что тебе Евгений Львович сказал?

— Что он мог сказать? Сделай, как отец написал, это серьезно. Билеты заказаны, оплачены, визу мне получать не надо, прежняя еще действует. Да он сам вряд ли знал, что у них там случилось, в Лондоне, и зачем им я. Открыто сказать про что-то не мог. Тоже по телефону боялся подслушивания, как же. И на компьютер папа написал не мне, дяде Жене. Конспираторы. Наивные в таком возрасте. Да я-то сам! Ничего не понимал. Как это: вдруг улететь? Не просто из Москвы. Для меня все было непросто, этого не объяснить...

Замолчал опять. Да, улететь из Москвы — это ему было не так просто. Ничего не выяснив, не разрешив. Оставив девушку с соперником, да еще таким, может быть, непоправимо. Интересней становилось другое. Монин в разговоре намекал мне на историю чуть ли не криминальную, Роман говорил со мной как с человеком, который все знает. (Как он, однако, о старших: в таком возрасте!)

— И что дальше? — подтолкнул я. — С Пашкиным, как я понимаю, ты сегодня увиделся?

— Пришлось увидаться. Неожиданные обстоятельства. — Тольц хмыкнул, покачал головой в ответ каким-то своим мыслям. — Я про это не хотел говорить. Так все со всем связано. Не знаю теперь, что будет... просто не знаю...

— Может, тебе лучше будет, если расскажешь? — сказал я.

Он неопределенно пожал плечами, отвел взгляд, что-то с усилием сглотнул.

— Если можно, — посмотрел опять на меня, — еще бы горячего кофе... И мне еще в туалет надо.

До туалета студент добрался без проблем, лишь слегка прихрамывал, поддерживать не пришлось. Я поставил кипятить воду для кофе. Колобродили, множились пузырьки, мысли булькали, лопались под стать им. Чем-то я уже

был заинтригован. Даже с этим украденным зачетом было, видно, не все просто, стоило бы прояснить. Если он захочет рассказывать.

Пить сразу горячий кофе юноше оказалось еще больно, пришлось ждать, пока малость остынет. Я сидел против него на стуле, опять чуть выше его, с вопросами не спешил. Толклись беспокойно пылинки в наклонном ровном луче. Можно было понять, парню было неловко откровенничать перед посторонним, тем более перед преподавателем, к которому пришел передавать зачет. Но чувствовалось, его самого тянуло высказаться, поговорить. Долго, наверное, не с кем было. Получалось вначале обрывисто, дергано, Тольц становился все возбужденней, незаметно разговорился сверх ожиданий. Мне оставалось лишь изредка уточнять, направлять слишком сбивчивый, непоследовательный рассказ, осторожно, чтобы не сбить, не спугнуть. Время от времени он спохватывался: зачем я об этом? И опять возвращался к недосказанному, уходил в попутные подробности. Последовательность мне приходилось выстраивать в уме самому, задним числом, кое-что мысленно для себя соединяя, дополняя, перетолковывая. Всего не воспроизвести, можно лишь пересказать в меру понимания своими словами то, что постепенно, и то не до конца, стало мне приоткрываться.

На вопрос, знает ли Роман, что все-таки случилось в Лондоне у родителей, тот усмехнулся как-то криво, пожал плечами. Он вообще о них почти ничего не знал. Так получилось. Слишком успел от них обособиться, отстраниться. Я это мог себе и без рассказа представить, обычное дело. Только что два родных человека были для тебя миром, опорой, защитой, ты без них не представлял себе жизни. Вдруг оглядываешься, не понимаешь, куда все ушло. Оба с утра до вечера на работе, о которой ничего тебе не расскажут, а ты и не спросишь, все равно не поймешь, неделями в разъездах, да и когда случается вместе сидеть утром за столом, не знаете, о чем говорить, мамин вопрос о школьных отметках отзывается болезненной гримасой, лицо отца закрыто газетой «Коммерсант» или какой там еще? «Коммерсантом», скорей всего. А у тебя уже появилась своя, обособленная комната, в ней можно жить, как в автономном пространстве, начиненном обновляющейся электроникой, словно пульт космического управления, в переплетениях проводов, джунглях соединений. Что тут надо было мне объяснять? Юноша и при родителях питался где попало, в случайных кафе, в столовых, тем более после их отъезда. Денег ему оставили достаточно...

Почему они уехали так внезапно? И этого он не знал. Мог лишь догадываться, что у них начались какие-то проблемы. По мрачному настроению, по обрывочным намекам, когда случалось уловить не ему предназначенный разговор. Пробовал раз-другой что-то спросить, отвечали уклончиво, раздраженно. Нервы были напряжены, можно понять. Однажды Роман из окна увидел, как отцовской машине загородила выезд из двора другая, из нее выскочили трое в камуфляже, заставили выйти шофера... (Тут он качнул головой, опять усмехнулся чему-то. Николай, Микола. С этим шофером у него было что-то связано, с ним он общался больше, чем с родителями. Добродушный круглолицый украинец разрешал ему садиться за руль, научил водить, как не научили бы ни на каких курсах, звал с собой в свободное время погонять где-нибудь за городом. Еще не заимев прав, Рома получил там навыки чуть ли не профессионала. В машине и у компьютера был для него особый кайф.) Качнул головой еще раз. Почему я вдруг о нем?.. А... да... Отца тогда в машине не оказалось, он несколько дней не ночевал дома, что-то уже, возможно, подозревал, чувствовал. Что именно, почему — об этом Роман до сих пор мог больше догадываться. Не спрашивал, мозги слишком заняты были своим. Так как-то сложилось. Они его звали с собой, он в Лондоне уже учился полгода, в Оксфордском колледже, даже сдал там два экзамена. Нашлось бы и сейчас, где

продолжить, но зачем? У нас уровень математики выше. Он даже английскую литературу знал лучше, чем его тамошние приятели. Им она была как-то не очень нужна, больше обучались составлять деловые тексты. Нет, уезжать он совсем не хотел, у него здесь уже была своя жизнь. Университет, новые знакомства, новые отношения, новое состояние ума. И предки тогда не очень-то настаивали. Думали, что ненадолго...

— Но зачем я вам это рассказываю? — спохватился опять. Я сдержанно пожал плечами. Роман осторожно потянул губами из чашки, убедился, что кофе остыл, сделал еще глоток — все-таки нельзя было не договорить, прерваться на полуслове. — Я хотел не про это, — повторил снова. — Не знаю, как объяснить.

— Ты хотел рассказать что-то про Пашкина? — счел нужным напомнить я.

— Ну да, Пашкин, — подтвердил без особой охоты, как будто поморщившись. Хотя даже морщиться ему было трудновато.

— Это с его родителями у твоих были проблемы? — все-таки не стал отпускать я.

Он вскинул на меня взгляд: вы что, и про это уже знаете? Надо было, однако, договаривать, остановиться оказывалось все трудней.

27

Да, у их родителей был какой-то совместный бизнес. С этим Пашкиным они познакомились еще до университета, прошлым летом или, может, весной... скорей, пожалуй, весной, еще цвела сирень. Уже цвела. Какая-то деловая встреча или семейное торжество, а может, совмещено было то и другое, в загородном, только что построенном пашкинском доме. Не просто дача — усадьба, вилла, знаете, какие у некоторых сейчас? (Я пожал плечами: не то чтобы знал — мог представить, больше по фильмам.) На лужайке перед крыльцом бочка с немецким пивом, подходят к ней с кружками, сами себе наливают. (Роман скривился: пиво он не любил.) Почему оказался там с родителями, сейчас уже и не помнил, а может, и тогда сказать толком не мог. Позвали, сел с ними в машину, оказался там, куда привезли, заранее заскучал: скорей бы домой. И не стал бы вспоминать, нечего было, если бы хозяин не подозвал к нему своего сына. Слава был тогда попроще на вид, чем сейчас, волосы на уши, массивная цепочка на шее. Пожал Роме руку так, что тот вскрикнул от боли, сразу стал извиняться, почти испуганно: я не думал, что будет больно, прости. Но довольный, чувствовалось. И потом, когда неожиданно встретились в университете, не упускал случая продемонстрировать свое фирменное рукопожатие, особенно при других. Я таких любителей знал. Рыжий не сразу приспособился заранее убирать руку за спину.

Пашкин был старше лет на пять, в университете оказался старше всего на курс, где-то успел поучиться раньше. Факультеты у них были разные, у одного — информатика, информационные технологии, у другого — экономика, менеджмент. Но так случилось, что стали встречаться, и не только на общих предметах. Сложилась общая... как вам сказать... компания...

Тольц поднял на меня взгляд, убедился, что мне тут объяснять не надо. Упоминания о девушке он поначалу еще старался избегать, но выдерживать так все время было нельзя, пришлось. Что парни таскались на мои занятия главным образом ради нее, это мне и без него было ясно. Не говоря о том, что я лучше него самого мог понять, как умело эта Лиана держала обоих возле себя, поощряла соперничество. Соревноваться с Пашкиным в спорте или в танцах Тольц, конечно, не мог, но на машине, например, гонял даже лучше, жаль, не было случая показать, кататься с чужими девушкой не пускали.

Не говоря о некоторых предметах. Математика-то этому Пушкину тоже была нужна, вот тут он с Тольцем не мог даже равняться. При встрече, бывало, просил что-нибудь решить за него, доказать неравенство, вычислить интеграл. Одну работу рыжий даже сделал для него сверх учебной программы, для какого-то конкурса. Быстрее было решить самому, чем объяснять, Роману было не жалко. Пашкин за это решение получил даже приз, не упускал потом случая похвастаться, Тольца, конечно, не упоминал. И ведь не станешь же при всех напоминать, что решение-то было твое. Неловко, и постесняешься.

Что-то похожее, как я понял, было и с этим джокером. Тольца заинтересовал термин, он стал всерьез копать. Показалось, что с этим понятием можно связать многое, не только в информатике. Непредсказуемость, неожиданность... ну, об этом он попробовал написать, повторять уже не стоило. Завел как-то в компании разговор о нем, кое-кому показалось интересно. (Смешной, однако, мальчик, подумал я, ему казалось, что если заменять имя словом «кое-кто», другие не догадаются, о ком он.) Обоим хотелось перед ней выглядеть интеллектуалами, это было понятно. Она им давала понять, что ей в мужчине нравится интеллект, про гениальность, я знал, разговор заводила. Пашкин ее интерес уловил, сумел перехватить словцо, переиначить, нашел случай выступить. Это уже было при мне, я помнил. О человеческом факторе в бизнесе. О волевом превосходстве, о новых аристократах...

— Ну да, — скривился Тольц. — У него был даже такой стишок: «Аристократ, будь сильным и гордым, бей плебея в хамскую морду». Не знаю, сам ли сочинил. И ведь кому-то нравилось. Он же ничего у меня по-настоящему не понял, как можно было всерьез?..

(А ведь он до поры даже не понимал, что его просто используют, усмехнулся я про себя. Умники иной раз меньше других понимают в реальной жизни, ухитряются не замечать очевидного. И при этом даже чувствовать себя счастливыми. Мозги настроены на другое.)

— Не знаю, как объяснить, — повторял он опять. — Была какая-то счастливая работа ума. Вообще какое-то особое состояние... необыкновенное, удивительное...

Влюбленность, что ж тут было объяснять. Рассказать мне всего Тольц не мог, и не только потому, что о таких вещах не говорят с другими. Он, думаю, сам не вполне понимал, что с ним происходит. Знал, конечно, то, что положено знать в этом возрасте, о чем мог прочесть в книгах, увидеть в кино, а тем более в интернете. Но ему еще было доступно незрелое, неясное чувство, способность к мучительному, счастливому томлению, от которой, увы, избавляет возраст. Представлял ли он реально ту, в которую был влюблен? Влюбляются больше в созданное собственным воображением, больше в голос, нежели в смысл слов. Взрослая девушка могла скорей над ним посмеиваться, разве что по-женски немного жалеть. Вряд ли Роман достаточно представлял, что может быть дальше, какой ожидал взаимности. Об этом речь вообще не шла.

Из слов Тольца можно было понять, что надежды его были связаны с возможностью предъявить ей какое-то решающее, несравненное достижение — тогда бы она его оценила. Известные юношеские грезы. Существенней всего было особое состояние, интенсивная, как никогда, счастливая работа ума. Столько он за это время успел пересмотреть, прочесть, самого разного. Не только по информатике, математике, но и по биологии, нейропсихологии. (Забыл, что мне про это уже говорил, начал было опять объяснять.) Мы

о своем мозге, оказывается, так мало знаем. Сейчас чуть ли не каждый день открывают в нем что-то новое. Структуры, взаимодействия, механизмы, процессы. И при этом научились создавать математические модели, искусственные нейронные сети по принципу биологических, а на их основе и программы, системы, способные к самоорганизации, самообучению...

Ну, не пересказывать же своими словами. Я и термины не всегда могу повторить. Нам кажется, будто мы достоверно знаем, что такое беспорядок, порядок, красота, безобразие, добро, зло, пользуемся на самом деле метафорами — а что им соответствует в физическом мире? Известные объяснения так же условны, как математические понятия. Групп, матриц, функций, чего там еще, в природе не существует, но мы можем свои построения преобразовывать, сопоставлять результаты с реальностью, и если придерживаемся определенных законов, абстрактные, казалось бы, выводы оказываются не только применимы к жизни — они могут влиять на жизнь...

Я слушал, время от времени кивая — казалось, будто в самом деле готов был понять. Понять не содержание — не мне было судить, насколько серьезнее стоило относиться к этой, может быть, умственной самодеятельности. Понятно было счастье процесса, вдохновенного поиска. Он и рассказывал, как будто заново переживал кайф — даже слушая, можно было это представить. Ни о чем вроде бы специально не думаешь, отходишь перекусить или отмокаешь под душем, вода барабанит по черепушке, в голове ничего, кроме шума — незаметно из него возникает музыка, похожая вначале на речитатив переменчивого дождя, все более явственная, нездешняя, обычными нотами ее не запишешь, тем более не объяснишь словами, только такой же музыкой. Что-то шевелится, соединяется в мозгу или в электронных недрах, ощущаешь себя внутри мерцающего математического пространства, оно преобразуется само собой, спешишь поскорей к компьютеру, голый, оставляя мокрые следы на полу. А потом вдруг начнешь под эту никому не слышную музыку пританцовывать, притоптывать нелепо, не до конца еще просохший... Право, я почти это видел: потемневшие от воды пряди лезут на глаза, кожа незагорелая, белая, на губах улыбка счастливого идиота. Конец зимы или начало весны, время не имело значения. Не то чтобы его не замечаешь (как не замечаешь рутинных движений, умывания, смены одежды, утро сейчас или ночь, шторы задернуты, свечения дисплеев достаточно). Вздернутость чувств, возбужденная, бессонная продуктивность мозга. И можно ли было это назвать бессонницей? Какой-то подарок природы — способность не спать подряд сутки, другие, сколько еще — он дней не считал, сливались в один. И никакой усталости, сонливости. Или, может, ему казалось, что не спит? Где-то он, кажется, читал, что такое бывает, теперь сам бы мог рассказать. Как будто снится, что ты не спишь, а мозг работает без усилия, сказочно, как во сне. Именно как во сне. Да еще начинаешь придумывать для себя произвольные ритуалы, зарок: совершить, например, одинаковое количество движений кистями рук в определенной последовательности и проследить, чем это обернется в течение дня. (Сумеешь ли ты, например, встретиться кое с кем на перемене, то есть даже не подойти, но хотя бы увидеть, пусть на расстоянии, даже лучше на расстоянии, подходить каждый раз неловко, подумает, что навязываешься.) Род суеверия, самодельной магии, подростковая игра с собой. Небезразлично оказывалось, в какой рубашке в какой день недели ты поехал на занятия. Хотя посмотреть на себя в зеркало перед уходом этот рыжий интеллигент скорее всего забывал. Безрукавку, впрочем, надевал неизменно — амулет свое действие вроде бы подтверждал...

Ну, тут я уже больше добавлял от себя, но он и сам готов был над собой усмехаться. Действительно важным для него было нарастающее чувство, что

все со всем связано: возникающее в мозгу, во внутренностях слабо урчащего устройства — и происходящее в жизни, в мире, если угодно, в космосе с его всеобъемлющими полями. Как некоторые готовы называть любовь проявлением мировой гармонии, а кто-то скажет: божественного начала...

Студент говорил, глядя не на меня, куда-то мимо, разбитую сторону лица можно было почти не замечать, я уже привык. Я сидел в кресле, немного возвышаясь над ним, в уме вертелся, не оставлял все тот же вопрос: не поддерживалось ли это восхищенное, но, право, не совсем естественное состояние вполне известными средствами? Болезненная невнятица реферата, лежавшего на столе в соседней комнате, все же требовала, что ни говори, объяснения.

Прямо спросить про это я медлил — а скоро и не понадобилось. Парню надо было не просто все-таки в конце концов рассказать, что с ним произошло — в чем-то самому разобраться. Обнаружил, что кофейная чашка с блюдцем все время оставались у него в руках, удивительно, что не уронил. Убедился, что в ней ничего не осталось, потянулся поставить чашку на стол, я перенял у него.

29

Был непонятный, необъяснимый сбой. Вначале могло казаться, что просто вдруг испортилось настроение, причину можно искать в чем угодно. Услышал случайно в университетском коридоре, на ходу, болезненно резанувшие слова, а может, увидел что-то, способное вызвать ревность, проскользнул и такой намек. Ну, тут больше были мои домыслы. Все можно считать причиной. Связывать происходящее в жизни с работой собственного ума, тешить себя фантазиями, будто найденное или возникшее на дисплее решение определит чье-то отношение к тебе. А если решения не получалось, все оказалось ошибкой? Что-то в мозгу погасло, светится в четверть накала. Музыка перестает звучать, живые только что значки осыпаются, как засохшие насекомые. Преподаватель, у которого он писал курсовую, подкинул ему какую-то непростую задачу, решение увез с собой за границу, пропал. Начинал раз-другой перечитывать сам — не мог понять, с чем что связано, откуда взялся результат: каша, набор знаков. Знакомое состояние. Как будто забыл увиденное во сне и не можешь ни вспомнить, ни заснуть снова...

Что-то сорвалось. Мозг ведь не все может выдержать. Сработал какой-то системный предохранитель. Это нельзя было назвать просто переутомлением, депрессией, наоборот — та же вздернутость, возбужденность, только мысль застряла. Говоришь как будто по инерции, по старой памяти, получается вроде бы складно, да все не то. Как актер, забывший роль, начинает нести отсебятину, лишь бы не сорвать представление. Как слегка хлебнувший изображает из себя пьяного. И при этом становишься все рассеянной. Такое бывает с людьми, слишком погруженными в свои мысли — когда видишь не то, что перед тобой, проходишь мимо знакомых, не замечая, потом не можешь вспомнить, с кем говорил вчера.

А тут еще и с Кассандрой началось что-то непонятное. Как будто по той же рассеянности нажал не ту клавишу, не заметил какую, не знаешь теперь, как, что исправить. Введенный результат непонятно где растворился, исчез, не восстановить, не распечатать реферат, уже подготовленный для зачета. С электроникой такое бывает. Можно было заподозрить вирус — нет, было что-то другое, странное. А пропавшее время спустя возникало опять, само, причем как будто в измененном виде — не совсем узнаешь. У самого что-то стало происходить с памятью, это действительно была беда.

После одного случая Роман готов был по-настоящему запаниковать. Собирался ехать после занятий домой, уже подошел к машине, стал доставать из сумки ключи, вдруг обнаружил, что нет ключей от квартиры. Проверил, прощупал, все выпотрошил — нет. И лишь тут вспомнил про оставленную в гардеробе куртку. С тех пор как потеплело, он ее перестал надевать, в машине можно было обойтись без нее, но в тот день с утра погода испортилась. Рассеянность на рассеянности. Сбилась привычная машинальность, мог, уходя из дома, сунуть ключи в карман, чего обычно не делал. Вернулся за курткой, стал ее обыскивать — нет. Спрашивать гардеробного служителя было бесполезно, гардероб за оставленные вещи не отвечает, отвернулся хмуро к газетке. (Я этого типа знал, из тех же охранников, на приветствие отвечал бурканьем, точно делал одолжение.) Пришло на ум поискать еще в аудитории, где был на последнем занятии, хотя там ключи некуда было даже положить, столы без ящиков. Куртку гардеробщик сам молча изъясил у него из рук, чтобы вернуть на вешалку, Тольц туго соображал.

В аудитории уже шли занятия, пришлось бы ждать перемены — не возникни вдруг Пушкин. Проходил мимо, говорил по мобильнику. Удивился, чего тут Роман торчит перед дверью, пришлось объяснить. Пушкин покачал головой: пойдём-ка поищем вместе. Вернулся с ним в гардероб, стал шарить по карманам и чуть ли не сразу обнаружил связку в верхнем, нагрудном. Как можно было ее пропустить, объемистую, на брелоке, не нащупать, даже если забыл, куда сунул? Глупо, неловко, необъяснимо. Пришлось рассказать приятелю про странности своего самочувствия.

Тот откликнулся с неожиданным пониманием: у него недели три назад начиналось что-то похожее, с памятью, не с памятью, какие-то мозговые явления. Врач сказал, это сейчас у многих, запускать такие вещи не стоит, направил к специалистам. Но Пушкину удалось обойтись без них, у близких родственников нашлось средство, помогло мгновенно...

И он тут же извлек из кармана пластиковую пробирку или флакончик с какими-то шариками или пилюлями...

Я, помнится, только и мог произнести что-то вроде «А-а», даже слегка развел руками: дошло наконец и до подтверждения. Этого и следовало ожидать. Роман уловил мой жест. Он тоже, конечно, подумал тогда о наркотиках, кое-что про них знал. В школе у них многие пробовали, сам курил однажды какую-то гадость, ничего не испытал, кроме головокружения и тошноты. Нет, он и Пушкина сразу спросил об этом. Тот даже развел руками: ты за кого меня принимаешь? Это средства особые, специальные, таких нигде так просто не достанешь.

И стал рассказывать про какого-то дядю, который по службе имел доступ к секретным разработкам. К спецсредствам для тех, кому надо срочно решать сложные интеллектуальные задачи. Например, на дежурстве при системах оперативного управления. Снимают переутомление, укрепляют память, заряжают мозги энергией, чтобы работали не просто надежно — с ускорением. Успел проверить на себе: действительно чудо, стали уже не нужны. В общем, предложил остаток Роману. Тот не хотел брать, Пушкин буквально всучил ему эту пробирку, сунул прямо в карман...

Увы, подозрения не просто подтверждались — дело оказывалось даже хуже, чем я мог думать. Значит, действительно этот Пушкин... Пашкин... Вспомнилось, как я час назад его не узнал, когда он появился, освещенный из лестничного окна со спины: затененное лицо, темные очки, закрывающие глаза... Не ожидал. Что-то надо было в уме перестраивать очередной раз — знал бы я тогда, что еще не последний, вот что мне предстояло понять достаточно скоро...

Дело было не только в том, что слишком сбивчиво, непоследовательно рассказывал этот рыжий бедняга, даже не в том, что он до последнего не хотел чего-то договаривать, медлил мне признаваться во всем. Казалось, у него самого какое-то понимание составлялось впервые по ходу рассказа. Пришлось наконец вернуться к телефонному звонку Пашкина, вечером после зачета, досказать, о чем же у них был разговор. Я уже сам почти был готов догадаться: этот Пушкин позвонил Тольцу вовсе не для того, чтобы объясниться за присвоенный реферат. С него самого, оказывается, потребовали денег за эти бесплатные пилюли.

Ну да, конечно, кто бы мог ожидать? Роман все же был не ребенок, мог бы сразу насторожиться, с чего ему вдруг делают такой заведомо недешевый подарок. Как будто им в школе не объясняли, как умеют подсадить человека, сделать зависимым, потом уж вытягивать деньги. Пашкин по телефону говорил вначале непривычно извиняющимся тоном: прости, мне самому неловко, я нечаянно тебя наколол. Он думал, дядя взялся помочь лично ему, по-родственному, раз понадобилось, без вопросов, про деньги ничего не сказал. Нет, оказывается, подразумевалось, как говорят теперь, по умолчанию, даже родственнику надо было платить. То есть тот сам кому-то был за эти пилюли должен, причем теперь уже срочно. А сколько платить, сказал? — поинтересовался я. Роман отмахнулся, поморщившись, — не очень, видно, хотелось называть сумму. У него таких денег не было.

Уловка, что говорить, из элементарных, этого стоило ожидать. Неожиданным для меня оказалось на самом деле другое. Роман, по его словам, чуть ли не в первый день ухитрился эту пробирку или флакон потерять. То есть сразу же про него забыл, дома не мог потом вспомнить, как вынимал его из кармана, куда сунул. Попробовал искать, быстро перестал: нет так нет. Не верить студенту у меня причин не было, но чем дальше я слушал, тем больше нарастало сомнение: была ли тут рассеянность, забывчивость, пусть болезненная, — или на самом деле все-таки что-то похуже? Не успел даже попробовать, как это средство подействует? А если именно сразу попробовал, и подействовало так, что он и этого вспомнить не мог?.. Ну, дальше фантазиям только дай простор, было куда разрастаться.

По телефону Роман говорить о пропаже не стал, надеялся все же исчезнувшие пилюли найти. Только сказал, что флакон готов вернуть, потратить ничего не успел, а денег у него нет. И почувствовал, что Пушкину это не очень понравилось.

— Что значит, говорит, не потратил? А как я буду доказывать, что ты ничего не потратил? Я говорю: известно же, сколько там было, можно посчитать, сколько осталось. Если, кроме тебя, никто ничего не брал, сам можешь сказать, сколько... Сопит в трубку. Ладно, говорит, приноси, посмотрим, а я спрошу. Не знаю, как к этому отнесутся... Пустой разговор, я уже чувствовал. Договорились пересечься по пути в четверть одиннадцатого, точно, без опозданий. Жесткий график, как же... Про вас я ему не сказал, не думайте. — Роман поднял на меня просительный взгляд.

О поисках ему особенно нечего было рассказывать, нетрудно представить: тыкался туда-сюда, по разным полкам, по карманам на вешалке, искал за компьютером, за другим, даже в постели, под простыней, под подушками. Сюрприз рыжего ждал, однако, в отцовском кабинете. Прежде он туда не заглядывал, незачем было, но тут подумал: мало ли что. Раз уж совсем своей памяти перестал доверять. Неожиданным оказался обнаруженный там беспорядок. Ящики рабочего стола были открыты, содержимое

разворочено. Как будто перед отъездом в них что-то спешно искали и задвинуть не позаботились. Так мог бы рыться в вещах посторонний, но в их квартиру никто проникнуть не мог. Отец еще до отъезда поставил ее на охрану, вдобавок к двойным дверям и новым замкам на каждой. Роман, правда, не всегда закрывал их все, докучная возня, сигнализацию он предпочел совсем отключить после того, как к нему однажды заявился по ложному вызову милиционер с автоматом, пришлось объясняться. Нет, не было никаких следов взлома, предметы, которые могли ему казаться лакомыми для грабежа, оставались нетронутыми. Но компьютер на рабочем столе был повернут дисплеем к стене, с него зачем-то была снята крышка системного блока. Роман присмотрелся поближе: самого блока не было. Отец зачем-то его вынул, увез с собой? Понять ничего он не мог, только спросить при встрече...

Надумал поискать по ящикам деньги, у самого их почти не осталось, снял последние из тех, что родители оставили ему на банковском счете. Собирался как раз просить, медлил, по возможности экономил. До сих пор он тратился, ни на что не глядя, совершенствовал свою компьютерную систему, рублей не считал. Денег, конечно, ни в каких ящиках не было. Мысль беспечно металась. Продать что-нибудь из вещей? Но он просто не знал, что чего стоит, в вещах не умел разбираться, тем более продавать...

— И тут меня как будто стукнуло, — студент опять поднял на меня взгляд, — о чем я вообще думаю, если завтра мне надо срочно к ним отсюда уматывать? Одолжусь у них, пришло. Так показалось вдруг просто! А потом тут же вспомнил, что к одиннадцати должен быть у вас, а реферата еще нет. Все остальное вылетело из головы. Мысль сразу пошла о другом. Вспомнил, как на зачете вы сказали мне про стихи. Что поэзию можно считать частным случаем сложной системы. *Почувствовать, понять загадку, еще не разгадав*, да? Я нашел эти стихи. Только еще не знал, как их Кассандра примет. Сел к ней, и она не просто откликнулась — ожива. Все вдруг заработало, все... — Тольц мотнул головой. — Не могу вам описать. Пошло дальше такое... больше, чем я ожидал! — Разбитое лицо даже сквозь кровоподтек, казалось, сияло. — Я ведь это вам принес показать. Вы еще не посмотрели?... Дайте, я покажу...

Пришлось кивнуть уклончиво: да, конечно, посмотрю непременно. (Если бы я уже не успел посмотреть.) *Предмет не определен, правила неизвестны*. Придется так или иначе договаривать до конца, продемонстрировать бедняге, что он натворил, если сам не помнит. Уже хоть пришел в себя, осмысленное состояние. Заглянет нормальным взглядом, поймет. От очевидности никуда не деться, но что с ним все-таки было вчера, сегодня? Сомнения зависли, не разрешенные, недоумение никуда не ушло, не развеялось, с ним предстояло еще разбираться. Только лучше немного погодя, не сейчас. *Заглавие в конце...*

— Давайте, — сказал, — о реферате чуть позже. Хотелось бы сначала послушать, понять до конца, что у вас с этим Пашкиным было...

Сияние на разбитом лице угасало не сразу. Он словно еще переживал восхищенность чем-то привидевшимся к рассвету после бессонной ночи — без перехода, он если и спал, то словно не осознавал этого. Мне ли было этого не понять, не проникнуться знакомым, право же, состоянием. Ведь это был тот же вечер, та же ночь, когда мне открывалась жизнь за освещенными окнами, и всех я готов был понять, узнавая в других себя, и где-то там, за непрозрачными шторами призрачно светились дисплеи бессонных компьютеров... а потом птичьи голоса за окном, пение в голове, чувство жизненной полноты, ясность восторга, похожего на понимание, остальное не имело значения, перестало существовать...

Он ведь не только про Лондон — про намеченную встречу едва не забыл. Даже мысль о деньгах, об этом (уж не примерещившемся ли?) флаконе как будто перестала беспокоить. Словно оживший сам по себе компьютер восстановил чувство несомненной уверенности, что все решится теперь само, как уже решила в электронном мозгу запущенная не сейчас программа...

Они встретились в кафе, как я понял, где-то неподалеку, кварталах в трех-четыре от меня, на проспекте. Названия он не запомнил, думаю, даже и не заметил. «Любо-дорого» или вроде того, я его, кажется, знал, проходил мимо. Оно, оказывается, принадлежало семейству Пашкиных. Не одно, целая сеть. Пашкин провел Тольца через общий зал в помещение, имевшее вид временного склада или будущего кабинета для избранных: стулья с высокими резными спинками, отдельно от столов, громоздились у стен: не расставленная мебель из реквизита оперного спектакля. Пушкин по-хозяйски велел кому-то за дверью принести кофе, пододвинул стулья к одному из столов, уселся.

Начало разговора нетрудно было представить: рыжий стал сбивчиво, может, еще сбивчивей, чем мне, объяснять про запропастившийся куда-то флакон, про то, что денег сейчас нет, что если это уж очень срочно, может, Пушкин рассчитается пока за него, он вернет позже, а там все еще скорей всего и найдется... О Лондоне, о том, что попробует одолжиться у родителей, хватило ума промолчать. Пашкин слушал, не меняя выражения лица, дал Роману закончить, наверное, еще выдержал паузу... да, выдерживать такие паузы тоже надо уметь, искусство бизнесмена.

— Что смотришь на меня, как невинная целка? — сказал вдруг. — Думаешь, я не знаю, что ты намылится слинять? Мне, значит, платить за тебя?

Этого рыжий ожидал меньше всего. Не говоря о грубости выражений. (Тольц не хотел их повторять, я вставил от себя.) Откуда тот мог знать про Лондон? Потом уже сообразил, что вчерашний звонок дяди Жени было нетрудно подслушать. Самому ректору это в голову не пришло, а ведь говорил с Романом, как конспиратор. Серьезный человек, но по-своему даже наивней студента. Знал же, что отец Пашкина, и не только он, сохраняли связи в органах, да в наши электронные времена хватает умельцев и без таких связей. Родители-то раньше приучились с телефоном быть осторожней, не позаботились Евгения Львовича предупредить. Пушкин потому и назначил Тольцу на одиннадцать, чтобы тот не укатил в аэропорт, Роман понемногу начинал соображать.

— Про вас я ему не говорил, он не знал, — повторил еще раз. И вдруг стал искать взглядом часы: — Сколько сейчас времени?

Поднял на меня взгляд, даже второй глаз приоткрылся над сливовым синяком:

— Ну вот, — выдохнул, — через полтора часа вылет, я бы еще успел...

И словно в мозгу у него тут лишь соединилось:

— Значит, я никуда не полечу?!

Радость ли была в этом восклицании, недоумение ли?.. На время он замолчал, что-то заново проворачивая в уме. Я не торопил, предоставил Тольцу сполна осознать свое новое состояние, но потом все-таки завершить рассказ. Ему самому словно в чем-то надо было еще удостовериться. Он продолжил.

— Может, дело было в кофе, не знаю. Пушкин мне его все придвигал: пей пока, пей, тебе надо. Сам кому-то стал звонить по смартфону. Я слышу: да, говорит, он сейчас у меня. И что-то еще, не совсем разборчиво, он отворачивался. Надо как-то помочь? — это уже в мою сторону. Передать ему? И потом мне: там хотят поговорить с тобой лично, поехали. Допивай скорей кофе,

чтоб не заснуть, надо, чтобы ты был в форме. А я и вправду ощущал все больше сонливость, давно этого не было. Не знаю, сколько суток не спал. Говорят, кофе иногда сам по себе действует снотворно. А может... не знаю. Почему-то решил больше не пить, отхлебнул только чуть-чуть. Удавалось еще держаться. Нет, говорю, мне уже некогда, мне надо спешить. Ничего, говорит, скажешь, куда надо, пересечемся по пути, никуда не опоздаем, не бойся. Только я, говорит, сам поведу, а то как бы ты за рулем не уснул... В общем, пришлось с ним поехать. Он сел за руль, посмотрел в навигаторе адрес, сказал по своему смартфону, куда нам. О'кей, говорит, действительно по пути. Едем, он что-то напевает по-английски, меня все время толкает: не спи. Я сам слежу за навигатором. Вдруг слышу, навигатор предлагает развернуться, а он разворот проезжает. Ты что, говорю, не слышал? Он не ответил. И тут сзади сигналы. Обгоняет патрульная машина, гудит, синее ведерко наверху, останавливается впереди, шагах в десяти. Пушкин тоже остановился, пошел к ней. Вываливаются с двух сторон двое, один в ментовской форме. Смотрю, он с обоими здоровается за руку, что-то говорит, показывает за спину в мою сторону. И направляются вместе ко мне...

Тольц на время замолчал — мне представилось, как он мысленно прослеживает движения идущих. («Знаете, как эти менты ходят, не торопясь, чтоб водитель успел понервничать?») Брови его вскинулись: он вдруг узнал обоих. Сначала того, что в форме. Он останавливал его накануне, когда студент опаздывал на зачет, не отпускал, ждал какого-то подтверждения. А следом узнал и второго. Это был отцовский шофер, Мыкола, Николай. Который когда-то учил его водить, на скорости, стартовать резко...

Я снова насторожился: что-то в рассказе Тольца опять становилось сомнительным. Совпадения, узнавания... не начинались ли уже видения? Милицейские в форме, тем более издаleка, могли показаться похожими, а уж этот Мыкола... Приблизиться Роман им даже не дал — сам не мог тогда объяснить, почему его вдруг подхватило. Внезапно, без отчетливых мыслей. Чувство, что надо срываться. Даже не осталось в памяти, как пересел к рулю, нацепил ли ремень, как рванул с места... Только, рассказывая, все покачивал опущенной головой, с удивлением, не совсем уверенно стараясь восстановить, увидеть происшедшее со стороны, замедляя, как в кино. На меня взгляда не поднимал, это бы помешало. Гнал без всякого навигатора (словно что-то вроде карты запечатлелось в мозгу), без улиц, зигзагами, через дворы, под арку, еще одну. И ведь попал, куда уж точнее, удивительно, что никого не задел, и меня потом нашел сам, ни у кого не спрашивал... что-то его вело...

Роман вскинул взгляд к потолку.

— Это было... не знаю, как сказать. Ни боли, ничего. Боль — это уже потом, сейчас. Только вдруг вспышка ясности, на миг. Наверное, как у Ньютона, когда его яблоком по голове... все вдруг соединилось, стало так понятно. Такой сжатый миг...

Он развел руками и мотнул головой, все еще восхищаясь тем, что в момент удара засияло вдруг перед ним. Я помолчал, выжидая. И что же тебе стало понятно? — готов был уже спросить, но не успел.

Долгий, повторяющийся звонок в дверь дошел до моего слуха, должно быть, не сразу. Я вздрогнул, точно посторонний, не отсюда, звук застал меня там, посреди двора, перед голубой машиной с капотом, уткнувшимся в фонарный столб, с осколками стекла на асфальте. Первой мыслью было: опять милиция. Что за чушь, сказал сам себе, однако на всякий случай опять

заставлял себя идти к двери потише, свет в прихожей не включал. Глазок закрывала невнятная зелень, размытые лиловые пятна. Я не без усилия возвращался к себе.

Дверная перегородка с выпуклым уменьшительным стеклом отделяла меня от цветущего сияния. За дверью стояла женщина с огромной охапкой сирени перед собой, у ног раздутая продуктовая сумка. Прошло мгновение, пока я узнал Наташу. Цветные отсветы непривычно меняли ее лицо. И как же я ее давно не видел!

— Ты почему не открываешь? — Я, опомнившись, взял букет из ее рук, потянулся за сумкой. Целоваться через букет было неловко, да через порог, кажется, нельзя, примета. — О, у вас, я смотрю, какие-то посиделки? — увидела за моей спиной, поверх плеча, Рому. Он вышел к дверям комнаты.

— Я, наверное, пойду? — сказал полувопросительно.

— Это что за разукрашенный красавец? — Наташа разглядывала его с любопытством.

Я, переносив в кухню сумку, в двух словах пояснил: студент, приехал сдавать зачет, по пути ко мне попал в аварию. Ему не стоит сейчас уходить, — добавил, слегка замаявшись. Слишком много пришлось бы объяснять.

— Кто ж его гонит? — сказала жена, продолжая попутно поглядывать на парня. — Ноги, руки хотя бы целы? Ну и хорошо. Отвезу его потом, если надо, только передохну немного. Сходи к машине, — она подала мне ключи, — там в багажнике еще две сумки, тяжелые, подними наверх.

— Я помогу, — стал порываться Роман.

— Ну да, тебе только этого не хватало.

Мы даже не поцеловались толком, так неловко, скомканно все получилось. Сумятица была в голове. Не такая встреча мне представлялась, думал я, перетаскивая из машины сумки в подъезд, потом в лифт, каждую по очереди: одна оказалась тяжеленным мешком картошки. Из деревни. Или, как обычно, по дороге купила. Наташа, что говорить. А я не успел даже приготовить обед.

Протаскивая мешок в дверь (хорошо, если ей помогли загрузить эту тяжесть в багажник), я услышал из дальней комнаты сдавленный стон: Наташа смазывала студенту ссадину йодом, нашелся все-таки дома. И бинт нашелся, не знал, где искать. Она перебинтовывала Рому, как серьезно раненого, лоб и скулу через подбородок, умело. Он что-то бормотал, сопротивляясь, но подчинялся — как ей было не подчиниться? Сирень уже наслаждалась водой, раскинувшись в большой хрустальной вазе, воздух становился другим, оживал, наполнялся нездешним благоуханием.

— Умираю от голода, сил нет, налаживай скорей на стол. — Наташа прошла мимо меня, чтобы умыть руки, мимоходом потерлась щекой о мое плечо, добавила шепотом в ухо: — Но раньше надо бы в ванну, помыться.

Я неловко подался вслед за ней и едва не потерял равновесие. Голова чуть-чуть закружилась, слегка, в первый раз я не придавал этому значения. О да, это бы надо раньше, раньше всего! Приходилось ждать, ничего не поделаешь. У самого засосало в желудке — с утра ничего не ел. Стал доставать из кухонного шкафа посуду, носить на стол. Наташа занялась салатом, Рому позвала к себе чистить картошку. Он замаялся, не знал, как к ней обращаться. Называй меня тетя Наташа, решила она легко проблему.

Я курсировал с подносом между столовой и кухней, попутно улавливал, как она уже расспрашивает Романа: а родители-то где? Тот отвечал голосом смущенного мальчика — племянник, право, племянник. Этот бедняга не представлял, насколько он сейчас был нехстати, нам обоим столько надо было сейчас рассказать друг другу.

— Посмотри, какая чистая, крупная, — показывала мне по пути Наташа очищенную картофелину. — Весь мешок за сотню, представляешь... Да ты не снимай так много, — остановила она студента, — на еду ничего не оставишь.

Я доставал из холодильника закуски, надолго замер на корточках перед открытой дверцей, не мог вспомнить, что собирался взять. Мысли толклись все беспорядочней. Приезд Наташи сбил только что готовое, казалось, выстроиться понимание, неясность лишь разрасталась. Как же все-таки с наркотиками, были они или нет? Что-то было подмешано в кофе или дал себя знать многодневный недосып? И что это за почти уже мистический флакон? Но разве мятые, с пятнами листья на моем столе не стоили медицинского заключения? А этот примерещившийся или будто бы знакомый шофер с будто бы знакомым милиционером, этот внезапный, необъяснимый порыв убежать? Чего рыжий испугался? Похищения, что ли? Слыхал я такие истории, как раз недавно чьего-то сына похитили, вымогали у родителей деньги. Похитителей скоро нашли, сумели вычислить. Но не так же откровенно такое делается, не у всех на виду. А еще эти необъяснимо пропавшие и необъяснимо найденные ключи, странные, что ни говори, сбои памяти? Распотрошенный отцовский компьютер, требование лететь в Лондон?.. Одно с другим просилось соединиться, но сначала требовалось все же достоверно понять, что это вообще было, и на самом ли деле, не в болезненном ли воображении, а если было и на самом деле — почему, зачем, кому понадобилось? Тут начиналось уже сочинительство. Это потом можно было удивляться, насколько я тогда не мог понять очевидного. Тольцу, чтобы у него соединилось, надо было изрядно стукнуться головой.

Телефонный звонок так и застал меня на корточках у холодильника, снова заставил вздрогнуть. Ощутимым стало морозное дыхание из открытой дверцы. Стал выпрямляться на затекших ногах — и чуть не упал. Голова закружилась на этот раз по-настоящему, стены вокруг сдвинулись, пошатнулись. Понадобилось некоторое время постоять неподвижно, придерживаясь рукой за притолоку, чтобы мир понемногу выровнялся. Хорошо, что Наташа ничего не заметила. Она, вытирая на ходу руки фартуком, подошла к телефону первая, передала трубку мне.

Звонил ректор, Монин, Евгений Львович. Он наконец обнаружил в своем мобильнике мой вызов. Я прикрыл трубку ладонью.

— У меня сейчас Тольц, Роман, вы знаете, — сказал вполголоса. — С ним, как бы это объяснить по телефону... возникли неожиданные проблемы. Я вам звонил, потому что надо было его отвезти домой, оставить там одного... он был, как бы это сказать... не в лучшем состоянии. Но теперь все как будто наладилось, вернулась жена... так что проблем нет, ничего обязательного...

Евгений Львович выдержал недолгую паузу, сказал, что сейчас придет ко мне сам. Адрес у него уже был записан.

Минут через пять ректор перезвонил еще раз: он просил разрешения приехать не один, а с дамой. Я, должно быть, вскинул непонимающе бровь, как это делал обычно сам Монин, но переспрашивать не стал.

Вот уж чего я не ожидал совсем: дамой оказалась Лиана. Она и выглядела не совсем на себя похоже. После вчерашнего зачета успела изменить прическу, а может, что-то еще, не такое для меня явное. Одета она была скромно: узкая, до колен, юбка, темно-зеленая безрукавка без надписей, гладкая, без украшений, сумка. Протянула руку Наташе, мне, поколебавшись, тоже — не студентка, а и впрямь дама, пришедшая в гости. Рука была легкая, невесомая.

Студент уставился на нее ошеломленно, я мог его понять. Да и мне как с ней было себя вести? Она явилась сюда, зная, что парень здесь, пришла на него посмотреть, полюбопытствовать, убедиться не знаю в чем — после всего, что произошло? После этого толчка в живот, после того, что я услышал время назад от Романа? И ни малейшего смущения на лице.

— Ух ты какой! — оценила его забинтованный вид. Рыжий стал поспешно ощупывать свои бинты, искать узел, где можно их развязать, не нашел, попробовал стащить так, через голову.

— Ты что делаешь? — прикрикнула на него Наташа, но остановить не успела, бинты уже свисали путаной гроздью со щеки, прилипнув на ней к не просохшей сукровице. Лиана подалась было что-то поправлять, Наталья ее одернула: подожди, сейчас принесу ножницы.

Я смотрел на обеих женщин: что в них мне могло привидеться близкого? Младшая точно потускнела. Тонких и гибких много, обещание юности еще ждало подтверждения — сравнить ли с ней полноценность состоявшейся зрелости? Нет, во мне говорила не просто понятная пристрастность — выправилось чувство. Я успел уловить, как женщины мимоходом меряют взглядами одна другую, — или мне почудилось? Впервые виделась, ничего между ними быть не могло. Наталья, однако, могла здесь показать себя не просто старшей, но и хозяйкой, что она не замедлила сделать.

— Пошли со мной в кухню, — сказала Лиане, — поможешь. А то этот красавец оставит от картошки одни очистки.

— У вас есть мука? — Девушка пошла за ней следом, стараясь, однако, оставить за собой право на самостоятельность. — Я вам покажу одно наше блюдо, это быстро...

Рома, еще не опомнившийся, покорно поплелся за женщинами. Вид у него был теперь все же не такой устрашающий, бинт прилеплен пластырем к здоровым местам кожи. Я был немного растерян. Кто мог ожидать, что приезд Наташи обрстет таким многолюдьем? Просто пообедать, как только что уже настроился, не получалось, ее характер этого не позволял. Да и мне с ректором поговорить надо было не на ходу, рассказать ему, что случилось, самому для себя что-то прояснить. Мы вдвоем с ним устроились на диване в моем кабинете, предоставляя молодым завершать устройство стола.

Мобильник у Монины был надолго отключен, потому что пришлось проводить какое-то совещание: подготовка летней бизнес-школы, утверждение грантов, обсуждение, как всегда, затянулось. Но о Роме он узнал не только из моего звонка, а еще и от этой Лианы Измайловой, одновременно, то есть буквально в ту же минуту. Она, оказывается, дожидалась его у дверей кабинета, а может, просто оказалась там. Ей перед тем успел позвонить Пашкин, рассказал, что их приятель разбился на машине и куда-то удрал, неизвестно, где его искать, что с ним. Монин выходил из кабинета как раз с мобильником возле уха, говорил на ходу со мной, она услышала имя Ромы. В общем, напросилась поехать с ректором ко мне. С ректором, без всякого смущения, так запросто — я невольно про себя хмыкнул. И он ей не смог отказать. Спросил ли хоть, зачем, с какой стати, что она ему ответила?

Да, не вполне я себе представлял эту девицу, что тут можно было сказать? Я и не собирался. Мне надо было ввести Евгения Львовича в курс случившегося хотя бы за последние два дня, по возможности коротко, в меру своего понимания. Монин вопросов не задавал, слушал молча. История с подозрительным флаконом заставила его, по обыкновению, вскинуть кустистую бровь. О злополучном реферате я пока речи не заводил, пришлось бы его демонстрировать, разговор сразу ушел бы в сторону. Сначала надо было узнать мнение Монины, что мог значить этот внезапный, если угодно, панический побег на машине, обернувшийся аварией? Если Роману

померещилось похищение — может, не совсем зря? Не потому ли встревожился его отец, написал вам, что сыну следует срочно улетать из Москвы? — спрашивал я ректора. — Может, ему там что-то стало известно?

Евгений Львович покачивал головой, бровь оставалась вскинута. Нет, ничего определенного отец ему не сказал. Придется разбираться здесь самим. Раз уж мальчик остался в Москве и вряд ли скоро теперь улетит. Насчет похищения — Монино, как и мне, это казалось слишком уж примитивно, открыто, слишком похоже на экспромт. Хотя кто знает, что было на уме — понять бы еще, у кого. И насчет необходимости расплачиваться за непонятные пилюли — посмотреть бы, кто это потребует, как, что предъявит? Нет, это дела для кого-то копеечные, если и провокация, то несерьезная. Подсадить мальчика на наркотики, скомпрометировать перед кем-то? А если не просто его самого? Надумали что-то устроить с ним, чтобы потом шантажировать отца? Вот этого исключить совсем было нельзя, тут надо было для меня пояснить некоторые обстоятельства.

Подтверждалось отчасти уже мне известное. У Монины с родителями Ромы были давние отношения, со времен работы в НИИ. Павел, отец, ушел из науки в бизнес — один из тех, кто увлекся тогда новизной недоступных прежде возможностей, готов был начать, как многие, больше на энтузиазме, если не назвать это авантюризмом. Почти вся прибыль в первые полгода уходила на аренду помещений для двух магазинов (компьютерные программы, игры, что-то еще), на зарплату четверем нанятым продавцам. Офиса у него еще не было. Евгений Львович вспомнил с улыбкой, как Павел пригласил его отметить первый навар, сотни три долларов, по тем временам это были деньги, можно было прожить чуть ли не месяц. Накупил сыру, колбасы, мяса, тоже тогдашней роскоши. И этот рыжий Рома ездил по маленькой комнате на детском велосипеде. Романтическое начало.

Проблемы, как водится, начались потом. Монин узнавал о них больше от жены Тольца, сам Павел все неохотней откровенничал о делах со старшим другом, когда-то учителем. Его можно было понять. От прежней науки отставал все безнадежней, если и жалел об упущенном, наверстать ничего не мог, ученые разговоры поддерживать словно стеснялся, помалкивал. Как уклонялся и от разговоров о реальности нового бизнеса — она, эта реальность, могла показаться оскорбительной для интеллигента старого склада, каким он продолжал считать Монино. В этом Тольц был не совсем прав, ректор достаточно ориентировался в сложившихся отношениях, морализаторство ему было чуждо. Подробности даже я мог представить по криминальной хронике.

Когда в офис к Тольцу заявили двое красномордых милицейских с предложением защищать от других таких же (крышевать, по-нынешнему говоря), Тольц их послал куда полагается. Но когда время спустя его остановили для разговора посреди безлюдной дороги, счел нужным поискать защиту солидную. Ею оказался Пашкин, то есть отец студента. Службу в органах он уже оставил, но сохранил там связи и сам как раз начинал бизнес. Серьезный человек. Тольц его взял в компаньоны, бизнес стал разрастаться. Ну а потом, как бывает, компаньон начал прибираться все к своим рукам, перехватывать акции. Больше был приспособлен к такой деятельности, по службе набрался опыта.

Стоило ли объяснять дальше? Известные технологии. Сочиняется фальшивый протокол внеочередного собрания, самозванный директор тут же подписывает договор о купле-продаже с какой-нибудь фиктивной однодневкой, судьи подкуплены. Пока будешь доказывать подделку, на твои счета наложат арест. Ну что я вам рассказываю, махнул рукой Монин. Некоторым достаточно первых намеков, до недавних интеллигентов доходит не сразу. У Тольца

хватило то ли характера, то ли старомодной наивности, чтобы пока держаться, он до последнего времени предпринимал разные ответные шаги, не так уж был незащищен, кое-чему успел научиться. Пока не сгустилось совсем всерьез — когда ему пришлось иметь дело не только с Пашкиным, но и с семейством Измайловых... Вы что, этого не знаете? — уловил мое невольное движение Монин.

Да, вот это была для меня действительно новость. Евгений Львович кратко мне пояснил. Этот Пашкин время назад ухитрился что-то продать Измайлову, кажется, сеть автозаправок, которую Тольц считал своей. Та же история. Подделанные документы, налоговая инспекция, суд, проверки. Насколько ректор мог судить, Измайлову эти заправки не особенно были и нужны. Его бизнес на порядок, если не на два, крупнее, чем у этих обоих. Нефтепереработка, строительный бизнес, металлургия. Между прочим, еще и сеть фитнес-центров в Москве, в перспективе, не исключено, для дочки, добавил Монин. Девушка, кстати, оказалась не просто в курсе некоторых дел, она его по пути немного просветила насчет деталей.

— Пришлось, правда, уговаривать охрану, чтобы ей позволили сесть в мою машину, одну ее без присмотра не оставляют. — Ректор усмехнулся. — Можете посмотреть из окна, если оно выходит во двор. И сейчас остались дежурить у подъезда, целый кортеж.

— Тоже бояться похищения? — спросил я.

— Думаю, скорей чтобы не убежала из дома. — Он усмехнулся опять. — Как я понял, уже пробовала. Но с тех пор все-таки повзрослела и о бизнесе говорит с пониманием.

Оба, и Тольц и Пашкин (Монин имел в виду, конечно, родителей), ищут союза с ее отцом, тот, похоже, просчитывает. А дети волей судеб оказались не просто ее сокурсниками, но вдобавок поклонниками. Хотя трудно сказать, только ли волей судеб. Пашкин с девушкой познакомился еще до университета, отец его мог направить. Со стороны не разобрать, насколько у сына интерес личный, насколько деловой, а возможно, семейный. Для Пашкиных породниться с таким человеком — значит выйти на другой уровень отношений, во всяком случае, деловых. Другое дело Тольц, он об увлечении сына скорей всего до сих пор не подозревает. А для Измайлова не так уж важно, чью сторону выбрать, Пашкина или Тольца, оба не особенно ему интересны. Если бы не дочь. Она с обоими кокетничает, это естественно, отчего бы нет?..

Да, ректор знал о студентах больше меня, я уже перестал удивляться. Эта Лиана по дороге, в машине, с ним сверх ожиданий разоткровенничалась. (Ну и девка, не мог не оценить я. Могла говорить о таких вещах с таким человеком, никакого стеснения. Со мной выглядела другой. И он ведь поддался, растаял, не сумел или не захотел уклониться. Зачем ей это могло быть нужно? Посоветоваться со старшим? О чем?) Пашкин, оказывается, побывал недавно у них в гостях, хотел понравиться маме. Рассказывала об этом с усмешкой, как-то по-женски трезво. (Именно по-женски, их трезвость иной раз просто пугает, вы не замечали? — посмотрел на меня Монин. Если они, конечно, не влюблены.) Не то чтобы и вправду обдумывала свой выбор — примеривала, играла. Насчет Ромы поинтересовалась у Евгения Львовича, действительно ли он такой способный, как она от кого-то слышала. (Ну как же, кивнул я, гениальность не дает ей покоя.)

— Да, я ведь, кажется, упоминал, у меня как раз накануне был разговор с его преподавателем, — вспомнил Монин. — Он ведет, как вы, спецкурс для продвинутых. Рома к нему повадился, единственный с первого курса. Донимал его разными вопросами, из тех, на которые не сразу ответишь. Тот однажды загрузил его задачкой, типа, как я понял, олимпиадных, Рома принес решение. Преподавателю надо было улететь на конференцию в Лозанну,

взял решение с собой. И вот только что вернулся, покачивает головой. Задача решена, результат верный, но ход решения не проследить, пропущены связи. Попробовал мне пояснить. Можно, говорит, математически доказать, что смесь желтого и синего дает зеленый цвет. Длина волны желтого цвета такая-то, синего такая-то. Сложить, разделить — получаем волну зеленого. А мозг выдает готовый ответ мгновенно, без вычислений: мы просто видим зеленый цвет...

Голос ректора ненадолго ушел куда-то в сторону. *Зеленый цвет...* где это встречалось недавно... совсем недавно?.. *Пробить стену лабиринта...* Докучные насекомые жужжали в ушах, мешали.

— Знаете, я говорил с одним американцем, менеджером, — голос Монина возвращался, — он мне сказал: если мне нужна уникальная разработка, я закажу русскому. Если я захочу сделать десять одинаковых — закажу кому угодно, только не русским...

Мгновенная гениальность мозга... Соединилось. Это на тех же мятых листах... боже мой... *пробить стену лабиринта...* Пришло наконец время показать ректору эти испачканные бумажки, они лежали тут на столе, рядом, надо было только встать, дотянуться. Пусть наконец посмотрит, скажет, что все это на самом деле такое...

В этот момент дверь приоткрылась, заглянула Наташа.

— Вот вы где уединились! — сказала весело. — Заканчивайте ваши интеллектуальные разговоры, пора всем за стол.

Монин начал подниматься с дивана первый, я не сразу последовал за ним. Рой рассыпался, в голове беспорядочно мельтешило... *дендриты и аксоны самонастраиваются...* Прижал пальцами виски, надо было вспомнить, зачем только что собирался встать. Не успели чего-то договорить, обсудить... насчет Ромы... ну, это разрешится как-нибудь без обсуждений, само...

34

После приглушенного кабинетного света — в праздничное сияние. Люстра изливала его всеми пятью лампами, превращая пространство стола в многокрасочный натюрморт. Я некоторое время тупо, словно чего-то не узнавая, обводил его взглядом. Краснел помидорами салат, пятно розовой семги обрамлено было огуречными лепестками, в фаянсовом блюде дымилась облитая золотистым маслом картошка, хрусталь бокалов заставлял шуриться.

— А водку, водку-то не поставили, — хлопотала Наташа. — Будет кто-нибудь пить? Я лично не против.

Монин отрицательно помотал головой, он был за рулем. Раненый студент, понятно, помалкивал.

— Я бы тоже не против, — неожиданно сказала Лиана.

— Вы же азербайджанка, — смерила ее взглядом Наташа. — Вам вроде нельзя.

— Я не азербайджанка, я еврейка.

Ну конечно же! Почему-то показалось, что я так и думал. Азербайджанские евреи, как же! Я осенью навещал могилы родителей на Востряковском кладбище, там вдоль главной аллеи растянулись три-четыре — не надгробия, настоящие мавзолеи, каждый протяженностью метров пятнадцать. На полированном черном камне, уж не знаю, как он назывался, из самых дорогих, выгравированы были портреты совсем молодых людей, даты под ними подтверждали: не успели пожить. Я тогда, помнится, подумал: скорей всего, убитые бандиты. Фамилии были азербайджанские, а звезды на камнях еврейские. (И она ведь краем глаза глянула на меня, я успел уловить.)

Водка между тем материализовалась сама собой на столе, сама оказалась уже в моей рюмке, не знаю, кто принес, кто обо мне позаботился, не спрашивая. Я и выпил как бы неосознанно для себя самого, лишь потом вспомнил, что не хотел этого делать. На голодный желудок не стоило бы. Шум в голове мешался с ритуалом набиравшего температуру застолья. Ваше здоровье! — воспарял над всеми голос Наташи. За знакомство! Очень рекомендую эти грибки, соленые, деревенские. За хозяйку! — откликнулся галантный голос Монина. А картошка хороша, правда? Наташа сидела рядом с ректором, подкладывала ему в тарелку, раскраснелась. Студенты сидели напротив них, рядышком, скромно помалкивали. Рома что-то замедленно, долго жевал, не проглатывая, возможно, ему было больно, про вилку в руке словно забыл. Девушка предлагала на миске что-то вроде кривых пирожков.

— Попробуйте, у нас это называется кутабы. Хотя какие могут выйти кутабы, если в доме нет ни мяса, ни зелени? Но мне захотелось сделать, я, вообще-то, умею. Нет, вы все-таки попробуйте, попробуйте...

Ректор потянулся к миске, откусил, пожевал, покивал одобрительно. Я сидел в торце, так сказать, во главе стола, мне к лепешкам тянуться было далеко, я и не собирался. Миска, однако, переместилась ко мне, я ощутил на себе задержанный, выжидающий взгляд — пришлось тоже взять. Тесто на зубах оказалось твердоватым, туго жевалось, но я не мог не кивнуть: хорошо. В улыбке девушки читалось: попробовали бы не похвалить. А может, и в самом деле было неплохо, тесту у них полагалось быть таким?

Шум вокруг или в ушах разрастался, не требуя участия, всем хватало друг друга и без меня. Усталость обернулась не то что расслабленностью — чувством какой-то потерянности. Наташа только что проделала полтысячи километров и, казалось, все веселела. Не кто-нибудь, ректор университета сидел у нее за столом, любезничал. А по мне, скорей бы уже разошлись не такие уж близкие для меня люди. Что надо, более-менее выяснил, дальше в своих делах разберутся сами. Скорей всего, больше никогда не увидимся. Я так даже и не спросил, остаюсь ли в университете. Не решил, хочу ли этого сам. Не представлял себе продолжения, готов был обойтись без него, ничего больше не хотел... Я опять не заметил, хлебнул ли под очередной тост вместе со всеми, через минуту не мог вспомнить, чем закусил, ел ли вообще. Захмелевшим себя, как ни странно, не чувствовал. Когда понадобилось выйти в туалет, встал, ни за что не придерживаясь, а если и придержался раз другой по пути, то просто так, попадалось под руку.

В туалете я некоторое время стоял, полузакрыв глаза, расслабленно плыл в пространстве вместе с тесным пеналом без окон, не замечая, что начинаю покачиваться в такт возникавшей откуда-то музыке. *Мне бесконечно жаль...* Наташа положила руку на плечо, прижалась щекой... Пришлось все же придерживаться рукой за стенку. Я обнаружил, что стою с расстегнутыми штанами, в дурацкой мужской позе, даже не догадался сесть, как-то не пришло в голову. Хорош, сказал себе одобрительно — кажется, все же не вслух. Привел себя в порядок, уже собирался спустить за собой воду — меня остановили голоса за дверью.

— Я два часа до тебя дозванивалась, каждые пять минут...

Это был голос девушки. Я замер. Неловко было выдавать себя сейчас, в таком месте, да еще таким звуком. Молодые люди были где-то совсем рядом, в закутке у входных дверей, под вешалкой. Дозванивалась... Это она, что ли, пыталась время назад разбудить парня настойчивой Хабанерой? Кармен, кто же еще? Ответный голос Ромы был едва слышен. Не то чтобы он говорил тихо — тембр не совпадал с моим слухом. Приходилось поневоле подслушивать, а что еще оставалось? Разве что воспользоваться предлагавшим себя словно в насмешку сиденьем... Нет, от двери было слышней, я садиться не стал.

Рыжий что-то объяснял взволнованно, долго, она изредка вставляла промежуточные междометия.

— Ну да!.. А ты где был?.. Ты представляешь, как мне пришлось стараться? — прорвалось вдруг сердито. — Сколько, думаешь, я могла строить глазки этому трогательному баба, читать и читать стихи, лишь бы ты успел...

Читать стихи... баба — это она про меня, что ли? Про тот затянутый зачет, сладкоголосое пение? До меня доходило замедленно. Значит, вот что это поэтическое представление значило. Красотка со мной тянула время, чтобы этот рыжий недотепа успел доехать, старалась для него. Потому мне так и улыбалась. А я-то развесил уши... Баба. Что это слово все-таки значит? Надо будет посмотреть в словаре. Али-Баба и сорок разбойников. Трогательный. Хорошо, что хоть трогательный. Можно я вам еще почитаю? Как же. *Гламурный рай не для таких, как ты...* Вот, значит, почему она так пихнула по пути этого Рому. Рассердилась, видите ли...

Рыжий опять что-то невнятно бубнил, она откликнулась насмешливыми междометиями. Потом опять прорывалось:

— И ты ничего мне не говоришь? Я не могу ничего сделать, если ты прячешься.

И время спустя:

— Какое кино? К кому я ходила домой?

Снова неслышное объяснение. И возмущенно в ответ:

— Как ты смеешь обо мне так думать? Придурак обдолбанный... Что?.. За кого меня принимаешь? У меня с ним ничего не было и быть не могло. Конечно, он хотел передо мной выпендриваться, а как же иначе? Ты бы знал, в какие меня звал места, на какие тусовки! Я думала, в Москве что-то особенно интересное, я же провинциалка. Обычная скука...

Что-то без слов, возня.

— Выбирай несравненного, учит змей-Азизил, повелительность мысли превыше всех сил... Хочешь, тебе сейчас почитаю?.. Ладно, потом... да... нет не так, подожди... Ты даже этого не умеешь... Вот так... да... вот так... А ты действительно гений? Проф говорит, человек не должен все про себя знать. Особенно если голова не как у всех, можно совсем свихнуться. Да? Нет, сейчас не говори. Что мне надо, я пойму без твоих слов. И с предками разберусь. С моими, твоими тоже, если понадобится. Мои меня слушаются. Сделают, как скажу...

И снова неслышное объяснение, бормотание друг в друга. И опять ее голос:

— Ладно, ты сначала повзрослей. Доживи хотя бы до моего возраста... Ну подожди, подожди... Не бойся, я не губами, языком... Больно?.. Больно, не притворяйся. Мужчину украшают раны. Терпи, это лечит...

Чье-то приближение спугнуло молодых, кто-то дернул дверь, за которой я торчал. Слышны были уходящие шаги. Процокали каблуки, это была Наташа, ей понадобилось в кухню, потом обратно. За дверью установилось молчание. Никого. Я наконец позволил себе спустить воду, вышел из невольного заточения.

Значит, эта Лиана не сомневалась, что может повлиять на своего отца? Что ради нее он может пересмотреть интересы своего бизнеса? А ведь все может быть... Вот ведь стерва, думал я, направляясь в гостиную и все замедляя движение, даже время от времени останавливаясь. Юная стерва, слово как раз для нее. Испорчу жизнь. И на что же он с такой мог надеяться, нелепый мальчик? Ставки были больше, чем он мог себе представить своим незрелым умом, сама игра была другая. Не просто любовь. Любовь тут решает меньше всего. Наивный ботаник вообразил себя полноценным соперником современного мачо. Этому Пушкину ничего не стоило от него отделаться, прихоть бабы вынуждала держать рыжего при себе, попутно

используя. И вдруг обнаружилось, что она от него ускользает. Вот ведь приехала сюда, к этому рыжему, знал ли Пушкин про это? Мог ли что-нибудь объяснить? Для бедного умника объяснения были где-то не здесь, он готов был искать их в других измерениях. *Момент истины развернут в процессе осуществления...* это, кажется, из тех же его бредовых листков?..

Виски сдавило опять, в голове была мешанина... Проф... Это я для нее, что ли, проф? В южных краях уважают звания. И что все-таки значит баба?..

35

Когда я вернулся в комнату, Евгений Львович и Наташа, сблизив за столом головы, что-то рассматривали на дисплее смартфона. Я задержался у двери. Монин пальцем тронул щеку, отвел с нее прядь Наташиних волос — видимо, шекотнула. (Ах, как я на себе ощутил это прикосновение!) Упорядоченная живописность стола сменилась иной, произвольно возникшей, посуда с остатками еды сдвинута, салфетки смяты, надкушенный кусок на скатерти. Моего появления оба не заметили.

— Вот, — Наташа переводила взгляд с изображения на лицо ректора, — на черно-белом не было такого сходства. А тут вы же явно рыжий, разве нет?

— В молодости был еще поярче. — Монин наклонил голову к плечу, признавая. Наверное, показывал ей какие-то свои фотографии. — Тускнеем, ничего не поделаешь.

Сменил касанием пальца картинку. Наташа посмотрела опять на дисплей, на профессора. При каком-то повороте головы в ее волосах ненадолго высветилась незнакомая прядь... исчезла.

— Нет, в профиль особенно заметно. Генетику не опровергнешь...

Я прислушивался рассеянно: это они о ком? (И дожидался, не повторится ли ответ... что у нее в волосах?) Тут, однако, ректор увидел меня, поспешно отключил прибор, стал убирать в карман — чего-то словно смутился.

— Я попросила Евгения Львовича показать свои старые фото, у него с собой оказались, — сочла нужным пояснить для меня Наташа. Как будто я сам не понял. — У нас тут зашел разговор о раннем развитии, — зачем-то добавила она без всякой связи. — Я говорю, в детстве многие талантливы, с возрастом почему-то угасают. Может, потому, что не находят применения, да? — Она обернулась к Монину.

— Поэтому тоже, — тот отвечал без особой охоты, а у меня в уме опять что-то не соединялось: детские таланты, старые фотографии. Казалось, уже готов был что-то понять — она сбила. — Сейчас люди вообще развиваются позже. Наука разрослась, учиться приходится дольше.

— Да, но вы же сказали, что в математике взлет бывает как раз в раннем возрасте...

Монин развел руками. Нет, ему явно не хотелось продолжать начатый без меня разговор. А я не мог отвести взгляд от волос Наташи: сместилась незакрепленная прядь, под ней действительно открылась не замеченная прежде седина. Проявилась за время отсутствия. Боже, боже... и какой усталый, оказывается, был у нее вид...

В дверях между тем появились оба студента. Лиана легонько подталкивала перед собой рыжего, он словно забыл, как ходят, куда надо, зачем. Отекшее лицо его, расцвеченное синяками, пятнами йода и подсохшей крови, в обрывках испачканных бинтов, имело вид, если можно так выразиться, живописный. Девушка принесла из кухни поднос, стала убирать использованную посуду. Чувствовала себя как дома, никуда не спешила. Роман бестолково ей помогал, вилка звонко упала на пол.

— Что, будем заваривать чай? — спросила Наташа. — Или кофе?.. Чай? — уловила чей-то невидимый для меня знак. — Пойду поставлю кипяток.

Значит, еще и чай! — подумал с тоской. Заваривать его было всегда моим делом, я это умел, но подниматься с места пока было рано. Мы остались за столом с ректором, он начал мне что-то негромко, доверительно толковать в ухо. Что Рому он отвезет сейчас сам, домой или сначала к себе, в таком состоянии рискованно оставлять одного, а завтра или, может, послезавтра пойдет с ним в милицию, объяснит, расскажет, что надо и как надо... А я думал о том, что с наркотиками так до сих пор и не прояснилось, реферат я ему так и не показал, да уже вряд ли стоит. Разберутся потом без меня.

Где-то поблизости зазвучал электронный призыв, из кухни на него зашла Лиана, вытирая на ходу полотенцем руки, отыскала сумочку, приложила к уху мобильник... Повторяющийся кадр фильма: героиня слушает недоступное зрителю, кивает, а слышать и не обязательно, можно понять до озвучивания, о чем речь: свита под окнами напоминала ей, что уже поздно, пора домой. Ничего не поделаешь, — она одарила нас сиянием всегдашней улыбки, застегивая сумочку.

Тут же стал подниматься и Монин, ему тоже было пора. А как же без чая, подоспела из кухни Наташа, такой вкусный мед, зачем сразу всех поднимать? — поглядывала с укоризной на девушку. Ладно, та решала для себя не сама, но вы-то куда, Евгений Львович? Разумеется, она звала всех остаться искренне, я ее знал, но для меня это было, пожалуй, слишком. Как будто так важно было попробовать мед, нельзя было без этого уходить. Нехорошо, конечно, было так думать, но я не без тревоги оглянулся на Мониного: что он ответит? Облегчением было услышать, что и ректор не мог оставаться.

Начался ритуал беспорядочного, растянутого прощания, постепенное, по частям, перетекание из комнаты в прихожую. Евгений Львович нахваливал Наташе ее необыкновенный салат. Приходите с женой, отвечала она, я ей расскажу рецепт. У меня нет жены, смутился Монин. Наташа принялась извиняться. Умерла? Три года назад, до этого долго болела. Как же вы теперь?.. Подошедшие студенты помешали продолжить, не при них же было вдаваться в обстоятельства ректорской жизни. Но как же она это умеет, оценил я, мимоходом разговорить, узнать, уловить такое, о чем я даже не подозревал. И все-таки не сейчас, не сейчас...

Подступила прощаться Лиана, ей, оказывается, у нас понравилось, так мило. В небольших квартирах есть свое очарование, сами когда-то жили в такой, она уже отвыкла. Вообще мне в Москве еще непривычно, нет моря. Я не могу без моря... И улыбалась одновременно обоим — для меня уже не студентка, об этом пора было забыть, оставалась лишь разница в возрасте. Рыжий топтался рядом, растерянный, вконец одуревший — как будто перед ним в реальности осуществлялась, разворачивалась сама собой программа, сработавшая в невообразимом компьютере, и он еще не совсем верил, что такое бывает на самом деле.

Пора было наконец ставить точку, я уже приготовился открывать перед гостями дверь, когда студент вдруг вспомнил: а зачет? Я даже не сразу понял, о чем он, успел забыть.

— А... — сказал, улыбнувшись, и тронул пальцами лоб. — Давайте вашу зачетку, поставлю.

Запоздало покосился на Евгения Львовича: ректор, что ни говори, стоял рядом. Но про это я ведь ему так ничего и не рассказал — что он мог возразить?

— А вы что, уже прочли? — засомневался Толщ.

— Заглянул бегло. — Я замаялся. Не хватало ему еще ставить меня в неловкое положение. — Вы, насколько я понял, ищите что-то в области, общей

для поэзии и науки... мы ведь об этом успели поговорить раньше? — Я опять обращался к студенту на «вы», само собой получилось. — *Тень предмета, которого не существует, порождает предмет...* я, кажется, верно запомнил? Видите? Звучит как поэтическая строка, немного странно для реферата по математике... Или по информатике? — Я чувствовал, что без надобности влезаю в подробности, совсем уже ни к чему.

— Но это же не я сочинил, то, что вы цитируете, — сказал Тольц. — Это все выдала Кассандра... то есть компьютер. Если бы я не отключил принтер, она бы печатала километрами, у меня бумаги бы не хватило. Столько загрузил в нее за полгода. А вчера вспомнил вашу подсказку, о стихах, ввел строчку — у нее такое пошло! Я все еще не успел посмотреть. Говорят, у компьютера не может быть чувства юмора, да? Я сначала подумал, что издевается... Но у меня же сказано все на первой странице, остальное читать не обязательно. Главное я хотел объяснить вам устно.

— На первой странице? — переспросил я.

— Ну да. Где реферат? Дайте, пожалуйста, я вам покажу.

Я, видимо, стал оглядываться, словно не мог сразу вспомнить, где и что следовало искать. Хорошо, что Наташа раньше меня поняла мое состояние. Должно быть, подумала, что я просто подвыпил, не стоило показывать это перед студентами. Не ходи, остановила меня, постой с гостями, я сама принесу.

Мы вчетвером остались в прихожей. Смутные лица смотрели на меня откуда-то сверху. Чувство тесноты. Мысль: сюда надо бы лампу поярче. Сознание, что происходит что-то не совсем правильное, может произойти. Отказать студенту было нельзя. Ему это было нужно. Нужно было что-то доказать, не передо мной — перед ней. Помнил ли он, что с ним было, понимал ли, что его ждет?

Вернулась Наташа с листками, передала мне. Я заглянул в начало. *Предмет не определен правила неизвестны... заглавие в конце...* Нет, пусть смотрит сам.

— *Предмет не определен правила неизвестны...* — прочел теперь вслух Тольц. — Но это же не первая страница. Где первая, куда она девалась?

Я чувствовал, как взгляды перемещаются опять на меня.

— Это все, — сказал я. — Все, что вы мне принесли. Там в конце два листа слиплись, — добавил я. — Вы так принесли... в таком виде...

Понимание дошло до нас, видимо, одновременно. Тольц перевернул листы.

— Извините, — спохватился виновато, — я, наверное, нечаянно переложил страницы, не заметил. Первая просто оказалась в конце. Извините... черт, действительно слиплось. — Он стал отколупывать ногтем, получалось не сразу. — Вот же...

Отлепил наконец последнюю страницу, немного все же отодрав бумагу вместе с буквами, переложил в начало, стал читать вслух. Лампа, стены, смутные лица, все плыло вокруг вместе с его голосом. Наташа крепко держала меня под руку, до меня доходили неполные клочки фраз. *Компьютер не может создать новую идею, но может выстроить и обновить... когда на выходе получаешь результат, который на входе отсутствовал... возможность проследить, понять... вокруг разрастается пространство непредсказуемого... незавершенность открывает область свободы...*

Мне еще удавалось следить за собой, хватало соображения молча кивать. Все, сказал, все. Очень интересно. Устно добавите, что надо, потом, охотно послушаю, сейчас не совсем подходящая обстановка. Получилось, кажется, связно, я даже сумел улыбнуться. Больше говорить не стоило, слова бы меня выдали. Показал движением руки: давайте. Давайте вашу зачетку... А ручка? Где была моя ручка?

Монин среагировал первым, вложил мне в пальцы свою. Кажется, он тоже вслед за Наташей понял, что со мной что-то происходило. Тольц полез в карман, чтобы достать зачетку...

Как будто разворачивалось своим чередом бредовое видение: в руке у студента оказалась пластиковая пробирка или флакон... я его узнал, хотя никогда не видел. Роман поднял недоумевающий взгляд, перевел его с одного на другого. Лиана сама взяла флакон из его пальцев, посмотрела, наморщив непонимающе нос, передала Монину. Тот, чуть приподняв, показал его мне, но передавать не стал. Пузырек прозрачно отсвечивал, почти пустой, только на дне что-то виднелось. Шарики, пилюли, какой-то остаток? С расстояния в таком свете было не разглядеть. Как это следовало понимать? Значит, эта штуковина там, в кармане, все время и оставалась? Подтверждалось все-таки не лучшее подозрение?

— Ладно, с этим будем разбираться потом, — опередил меня ректор. Он тоже почувствовал что-то неладное, не стоило продолжать при студентах. — Не на ходу же.

И положил пузырек в карман своего пиджака. Да, смутно оценил я, так безопасней. Мало ли что? Милиция могла подстергать у подъезда, могли задержать по дороге. В мыслях была полная неразбериха. Передо мной все-таки возникла зачетка, я поставил в ней свою закорючку, вернул стило ректору. Понимал ли он больше меня? Поискал руку Наташи, чтоб поцеловать, та его опередила, просто чмокнула в щеку. Все-таки и она, видимо, захмелела немного...

Студент уже вызвал лифт. Звук шагов на лестнице заставил меня оглянуться. Сверху спускался кто-то, должно быть, из верхних соседей. Обнаружил, что лифт уже вызван, не захотел ждать, пока придется вызывать еще раз самому. Красная куртка, бритый череп... Я напряженно соображал, кто это, где я его мог видеть сегодня. Зачем он в темных очках? Вечером при электрическом свете, в таких очках совсем плохо видно. Мне было плохо видно... Нет, не очки, это тень козырька падала на глаза, я уже готов был его узнать, забыл только имя. Втиснулся к троице в тесную кабину, прижался к спине студента, рукой к нижнему карману безрукавки... молния, как всегда, расстегнута... Надо было им сказать... предупредить, и не было голоса, не мог даже вскрикнуть...

Створки сошлись, мы с Наташей махали вслед спускающейся кабине, а может, махала только она. Лифт опускался в провал, все глубже, все глубже, переплетения реек накренились, стали изгибаться, лампа уходила куда-то вбок, туда, где возле коврика перед дверьми проявлялось вновь пятно крови. Наконец-то в ванну... к щеке прильнула щека. Голос в ухо: «Что с тобой? Ты где?» Прижалась, чтобы надежней друг за друга держаться, и мы оба с ней понеслись в ясное освобождающее сияние...

Выпей, не отворачивайся, ну давай... горькое, ничего, запьешь сладким чаем... ну вот молодец... мамин голос, мамин запах, облако прозрачного жара, блаженство покоя, когда можно никуда не идти, не двигаться, парить в неведомости, не ощущая себя, обводить, не поворачивая головы, возникающее перед взглядом, задерживать, приближать подробности. Голые стены в пятнах, смутно знакомое помещение, распахнувшийся альбом на полу, из него вывалились фотографии, выцветшие отпечатки теней. На ближнем малыш с изумленными распахнутыми глазами, в трусиках, босиком, за спиной стена, серая древесина в занозах, серая земля, подобие серой травки. Чуть подальше он же или другой, себя не сразу узнаешь, волосы топорщатся, сколько

ни смачивай перед школой, пиджачок узок в плечах, штаны по шиколотку, донашивал прошлогодние. Надо все же идти... послали за керосином. По ступеньке, по шагу, вместе с угрюмой очередью, в подвал. Ступенькой ниже инвалид-коротышка, лысина в гнойниках видна сверху, на одном засохшая корочка. Сладковатый керосиновый запах, черный халат керосинщика. Десять литров, удельный вес ноль восемь, в жестяном бидоне восемь килограммов, по дороге домой можно отжимать, накачивать бицепсы, правый, левый. Облезлая дворняга опять привязалась, бледно-розовый язык высунут, трусит впереди, оглядывается: мы к тебе? Больные глаза слезятся. Провожает до крыльца, надеется, не пустят ли в дом, но кто ж такую разрешит. Только вынести зачерствелую горбушку, подозвать свистом... Почему-то долго не получалось свистеть, вытягивал трубочкой губы и пищал тоненько, уверял себя, что это свист. Нет, надо вот так, дуть, показывал папа, не горлом. Не получалось, ничего почему-то не получалось... Что значит ничего, откликается насмешливый голос. Получилось что получилось. Я озираюсь: кто это? Где папа? Только что был, и уже нет. Этого я и боялся, всегда боялся его потерять, не успел дослушать самое важное. Звук, похожий на тихий плач, не детский, не женский, подсказывает направление. Я раздвигаю руками белесую ватную мглу, что-то скользко шмякает под подошвой, раздавленное. Вот... вот же больничные носилки, они так и остались на краю осыпающейся ямы, еще не поздно. Незнакомое, оплывшее от болезни лицо, щеки в серой неровной шетине. О чем он только что плакал? Ужасен бессильный плач взрослого большого мужчины. Взгляд с носилок мучительно ищет меня, губы пробуют шевельнуться. Это же папа, все-таки папа, как я мог не узнать. Изменился, конечно же, изменился... давно не видел, забыл. Струйки дыма или тумана сгущаются над лицом, белым, как дым или туман, вот-вот с ним сольются, поглотят, растворяют. Успеть, скорей досказать, вспомнить слова, только отвести взгляд, так проще. Ты чего-то ждал от меня, я знаю... не получилось, да... Дело не просто во мне, мир так повернулся... литература стала никому не нужна, жизнь без нее непонятна... Нет, не то... не знаю, как тебе объяснить... Оборачиваюсь: на холмике среди белесых ошметков темно-серый пиджак. Шелковая подкладка под пальцами на ощупь прохладна, омертвелый остывший пот. В ушах звонкая тишина или музыка, не различить, не расслышать. Кто это говорил: мы не умеем настроиться, вникнуть? Вот... притоптывает в сторонке, затычек в ушах не нужно, слышит без них. Магия неслаженного на вид танца, полумрак коридора без окон, запах пыльных горячих батарей. Самцы топчутся перед самкой, дочеловеческий ритуал, оскал, притворяющийся улыбкой, не обязательно понимать. Испорчу жизнь, крупными буквами, предупреждать бесполезно. Так чего-то и не сумел прочесть, не успел. Мятые испачканные листы поглощены серой безрукавкой, удаляются, в них уже не заглянешь. Молния, как всегда, не застегнута, соблазн для карманника... вот так, легко, пальцами правой руки, не взяты, положить, напевая... левая рука на руле. *Nothings gonna change my world*. Рыжий ничего не почувствовал, он таких вещей не понимает, не замечает, немного не от мира сего, отец так о нем и сказал. Догадывается ли он, признает ли, что за рулем с ним в машине отец?...

Какой отец?..

Я резко очнулся. Так бывает, когда во сне или уже наяву что-то внезапно замыкается. Миг пробуждения, переход из состояния в состояние. Свет без источника, растворенные тени. Сознание: это еще здесь. Я еще здесь... Кажется, уже было раньше, повторяется. Была первая смутная мысль: еще нет. Видел себя откуда-то сверху, со стороны: бессильное, беззвучное, чужое тело. Ни страха, ни облегчения, ни ярких чувств. Еще нет. Значит, остался. Чье-то дыхание неподалеку, нет ни сил, ни желания повернуть

голову, осмотреться. Фигура в светлом призрачном одеянии возникла перед глазами, поправила стеклянный сосуд на штативе, что-то соединила... исчезла беззвучно. Да, я уже был тут, вернулся откуда-то, что-то важное успел там увидеть... высветилось, соединилось... как бы не упустить, задержать, закрепить. Отец за рулем... я ведь будто сам знал. Наташа уловила по фотографии, женский взгляд. Сам почти чувствовал, был близко. Не позволил проявиться догадке, назвать словами. Она была, наверное, чуть под хмельком, не постеснялась ему сказать, он бы сам не признался. И ведь не оспаривал. Может, ему хотелось это услышать, от женщины, ему этого не хватало. Ходил на байдарках... в профиль не опровергнешь. Так явственно, до иллюзии. Двое в машине... темные очки... зачем опять очки? Сбивается мысль... надо еще прояснить. Пробирка или пластиковый флакон в пальцах, нехитрое движение карманника... не вынуть, вложить. Как эта штукавина оказалась опять у него? Нашел дома у рыжего?... может быть. Наведался туда вместе с другими... ключи, неосторожно оставленные в кармане, позволили сделать слепок, нехитрая технология, гардеробщик из той же команды. Умело, бесшумно, демонстративно. Попутно и позабавиться, попользоваться компьютером недотепы, скачать для себя реферат, как раз оказалось кстати. (И что-то при этом испортить, нечаянно или умышленно?) Джокера ему захотелось, заинтриговал его этот джокер. Показалось, что и девушку он может очаровать. Способ утвердиться в ее глазах. Уже стал чувствовать, что она уходит, уходит от него к другому, действовал от отчаяния. Сперва по мелочам, а там и пилюли подкинул. Рыжий их почему-то у себя не нашел. Так и нечего было искать... да, скорее вот так. В университетском коридоре этот Пушкин лишь сделал вид, что кладет их в карман безрукавки. Тут же вынул, не положив. Знал, с кем имел дело. Чтобы потребовать за них плату, а потом подсунуть их по дороге, перед встречей с милицией... Пусть тут отчасти пока сочинительство, перебор вариантов, как в детективе. Скажем, этот шофер, Мыкола, в машине враждебного конкурента — переметнулся ли он от Тольца к Пашкину? А если внедрился? был внедрен? Чтобы распознать опасные планы? Предупредить бывшего хозяина, чтобы тот вызвал к себе сына? Дальше разрастается, разветвляется. Другим нужно было свое, нехитрое: посадить рыжего на наркотики, если не посадить, так подвести под милицию, дело уже нешуточное. Одним ударом вывести из игры соперника и надавить на его отца...

Да, скорей всего, так. Пусть так. Доказать ничего нельзя, и не надо, все уже произошло, как произошло. *Nothings gonna change*. Считай это беллетристикой, совсем без нее не обойтись, мы все ею занимаемся. Чтобы понять, что было, чего не было, хотя бы предварительно, для себя самого. Расположить во времени, соединить, выстроить в уме, как повествователь выстраивает рассказ — начинают проявляться связи, причины, следствия, смысл. Я это уже пробовал. Выявляются, предлагают себя подробности, их оказывается все больше, больше, хватило бы времени перебрать. Начиная с утреннего звонка... невнятный голос из домофона, кровь на лице студента, и как ты наклонил ему голову под холодную воду... Оказалось, нужно заглянуть подальше, когда возле мусорного бака, в густеющих сумерках увидел замызганный картонный переплет с геометрическим силуэтом птицы, книгу со своей статьей... Хотя и это уже потом, пробуй искать еще раньше... до начала не доберешься, не остановишься. Пробуешь выстроить, связать последовательный сюжет, мысль, память прихотливо виляют. Литературное устройство ума, способ приспособиться, обосноваться в жизни. Упрощать невыразимое, обходить неприятное, досочинять в меру способностей. Линейное мышление, иллюзия ясности. А ведь только что привиделось, приоткрылось... облако прозрачного жара, мамин голос, прохлада мертвого пота... сон, в мгновение которого вмещается

жизнь, где все одновременно, пережитое, забытое, не замеченное, упущенное, не понятное. Вынесло помимо желания сюда, в стерильное измерение, где время отсчитывается биением пульса, равномерным движением стрелок... Вернуться бы... вот... вот... полоска света, опять приоткрывается дверь, заглядывает жена. Я замедляю шаг, останавливаюсь с дочкой на руках, трогаю губами лоб... горячий. Девочка захныкала, заворочалась, прижала к себе собачку. Такой жар, а ее не выпускала из рук, мохнатую, белую, уже посеревшую... не увидел ее сразу. Мягкая собачка с добрыми голубыми глазами, Кутя. Можно я тебе скажу одну вещь, только на ухо? Кутя живой, по-настоящему. Нежность и жалость. Нам кажется, будто мы что-то забыли, что-то исчезло из памяти. На самом деле мы ничего не забываем. В нас загружено не меньше, чем в Кассандру, мы только хуже умеем вспоминать. Когда-нибудь кто-нибудь без тебя все это развернет, как компьютерный шифр или генетический код, разберется, запишет. Программа совершенствуется, то есть ретроспективно глупеет. Чем больше начинаешь с возрастом понимать, тем ясней сознаешь, насколько раньше был глуп. Не понимал очевидного. Но это, может, и значит, что еще живешь, еще не затвердели в склерозе сосуды. Красивый безжизненный кристалл. Пожилая оформленность, которая называет себя духовностью. Ленивая, ревнивая заспанность. *Почувствовать, понять загадку.* Заглавие в конце, Кассандра обещала. Дождаться бы, посмотреть какое. Скорей всего, *Незачет.* Кому незачет? Естественно, мне, кому же еще? Хочешь, не хочешь, придется признать. А если вдруг *Джокер*? Еще можно чего-то ожидать. *Пока она вибрирует, трепещет.* Узнаю в свое время. Если оно у меня осталось. Время на пересдачу. Что вдруг стало понятно этому рыжему, когда он стукнулся виском о стекло? Яблоком по голове. *Заглавие в конце.* А если конец — уже вот сейчас, в следующее мгновение? Тыкаешься, блуждаешь, держишься рукой за стену — а надо бы ее пробить, вот на что тебя не хватает. Вопрос: зачем? Говорят, через двадцать с чем-то миллиардов лет не только человечество — исчезнет Вселенная. Вот и все. Ищем смысл, думаем, что это мы вносим его в бессмысленный мир. А если мы скорей инструмент для выявления смысла? Вопрос: чей... Сколько вопросов...

Мысль сбивается, мельтешит, выносит опять не туда. Мы не успеваем осознать, сполна ощутить прожитое — оно уже отживает, никому не нужное, не интересное, догнивает, как вещи на свалке, вместе с драгоценными стекляшками детства, деревянным пистолетом, фонариком без батареек, бачком для проявления пленок... широких, с перфорацией, таких теперь нет. За проявителем приходилось ездить из своего пригорода в Москву, достать и там было непросто. А еще нужен был крепежный фиксаж. Сейчас другим не объяснишь, какое это было священнодействие, как дрожали руки, когда впервые стал высвобождать из катушки мокрую пленку, еще толком не промытую, не терпелось посмотреть хотя бы краешек, самый конец... совсем черный... неужели засвечен? Мама подошла помогать, чтобы не выронил, не испортил. Темная тень, негатив лица, не догадаться бы, чье-го, если бы не знал сам. Печать без увеличителя, бумагу вложить в рамку, включить и выключить свет. Секунды творения, красный фонарь алхимика, возникает, наполняется чертами теплое живое лицо. Лицо мамы. Выющиеся, коротко подстриженные волосы, берет слегка набекрень. Она с папой, щека к щеке, без морщин. Вот тут на папе белые жениховские брюки, белая рубашка, парусиновые туфли начищены мелом. Дайте мне его увидеть, плакала мама, когда мы вернули ее после попытки уйти из дома, пробовали успокоить, раскрыли перед ней семейный альбом. Не узнавала его на фотографии, не хотела узнавать. Как будто отпечатанная на бумаге память подменяла, вытесняла другую, настоящую... сворачивалась в огне трубочкой, чернела, таяла, рассыпалась. Тени, ставшие дымом, отпечатки теней. Истошенное

иссохшее тело, груди, как сморщенные груши. Наташа позвала меня помочь, когда мыла ее в ванной. Мама не хотела, чтобы я увидел ее такую, мужчине лучше не знать всего. На похороны пришли кроме нас только четверо соседей, не осталось никого из ее прежней, неизвестной мне жизни. Девочку на похороны брать было нельзя, ей сказали о смерти бабушки время спустя. При нас она не заплакала, только чуть скривилась, уткнулась лицом в мягкую шерсть, ушла к себе. Потом я из-за двери услышал, как она рассказывает Куте про бабушку. Когда бабушка была девочкой, у нее была собачка, ее звали тоже Кутя. Она ее очень любила. И меня любила. И папу любила. Она всех любила. Жар у нее начался через два дня. Умный врач понял раньше, чем я: температура бывает не только от гриппа. Она у Сони повышалась и прежде, когда приходилось вести ее в детский сад. Натягивал на нее, еще сонную, колготки, они за ночь не просыхали на батарее, плохо топили, ставил ей пластинку с детской сказкой, чтобы не плакала, отвлеклась. *Ну что ты потеряешь, если все узнаешь?* Али-Баба. Я чувствовал себя преступником. Мама вызвалась брать ее к себе, хотя сама уже ходила с трудом. Отвозил к ней Соню, все чаще оставлял на ночь, она не хотела возвращаться. Наташа немного ревновала. Пришлось вернуться. Привыкать к жизни. Привыкла, как все мы. Когда-то все игрушки были живые. Нам дарована была гениальность, не удержать, не вернуть, не вернуться. Мне не давал покоя вопрос: божья коровка сидит на листе крапивы — как она не ужалится? Стеснялся спросить маму. Или спросил? Что же она мне ответила? До сих пор не знаю. Надо будет спросить Наташу. Она должна скоро прийти, ей, наверное, сказали диагноз. Или она уже пришла?

Воздух светлеет. Теплое облако сгущается, опускается над лицом... сладкий знакомый запах. Наташа кормила Соню грудью до двух лет, Фрося считала, что это полезно. Как было не воспользоваться возможностью попробовать, отсосать совсем немного, чуть-чуть? Вкус молока нежно касается губ, разливается, оживает. Сладость выпуклого соска. Наташа ли это, мама ли? Неужели такое возможно... снова увидеть... увидеться?

Нежное сияние, дух живительного тепла. Открыты глаза или закрыты? Зеленый лист в темных прожилках, светлый пушок, черные точки на красной глянцевой спинке. Тонкие колючие волоски не прогибаются под твердым выпуклым телом. Какая невесомость, какая легкость, простота понимания! Божья коровка, улети на небо, у тебя там детки! Вздрагивают, расходятся, приподнимаются жесткие лакированные надкрылья, из-под них пробуют выпростаться нежные крылышки, слабенькие, полупрозрачные, как из папиросной бумаги. Можно ли на таких взлететь? Не удалось даже расправить. Приводит их в порядок, не без труда прячет в выпуклое укрытие. Попытаемся снова. Божья коровка, улети на небо... к деткам... улетаешь... летит... летим... Сияющее пространство, дыхание невесомости, прозрачная ясность.